ВРЕМЯ И МЫ

32
1978

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

● ПРОЗА И. ВАРЛАМОВОЙ

● РУССКАЯ ПАРТИЯ И ПОЭЗИЯ

● ОТ РОДА К ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ

● БЬЕННАЛЕ—77

Дора Штурман

Победа и крушение Ленина

ВРЕМЯ И МЫ

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
ЖУРНАЛ
ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

Четвертый год издания

Выходит один раз в месяц

32
1978 АВГУСТ

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВРЕМЯ И МЫ"

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ФАИНА БААЗОВА
ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА
ЕГОШУА А. ГИЛЬБОА
ИЛЬЯ ГОЛЬДЕНФЕЛЬД
МИХАИЛ КАЛИК
ГАЛИНА КЕЛЛЕРМАН
ЛЕВ ЛАРСКИЙ
МИХАИЛ ЛЕДЕР
ДМИТРИИ СЕГАЛ
ЙОСЕФ ТЕКОА
ДОРА ШТУРМАН
ААРОН ЯАРИВ

Зав. редакцией Марина ГОЛУБЕВА

Представители журнала:

Англия	Александр Штромас	**Croft House, Top Flat 32 New Hey Road Rastrick, Brighouse W. Yorkshire HD6 3PZ ENGLAND.**
Западный Берлин	Лотар Ролл	**Buschkrugallee 98, 1000 Berlin 47, t. 606-77-61**
Канада	Юрий Лурьи	**305 Robson Hall Winnipeg, Manitoba Canada R3t 2N2 t. (204) 474 9773**
США	Эдуард Штейн	**7 Miles Ave, Woodbridge, Conn. 06525 t. (203) 3874)5-97 USA**
Франция	Ричард Кернер	**24, rue Lecluse, 75017 Paris 17e, t. 292-12-61**
ФРГ	Арий Вернер	**Postfach 50 1968 5000 Koeln. 50 West Germany**

OCR и вычитка - Давид Титиевский, март 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА
И. ВАРЛАМОВА
Мнимая жизнь 5
Аркадий ЛЬВОВ
Собеседование 76

ПОЭЗИЯ
Анатолий ЖИГАЛОВ
Зеркальная мозаика 92
Генрих САПГИР
Сквозь боль и бред 101

ПУБЛИЦИСТИКА, ИСТОРИЯ, КРИТИКА
Соломон ЦИРЮЛЬНИКОВ
Истоки кризиса 104
Лора ШТУРМАН
Победа и крушение Ленина 115
Елена КЛЕПИКОВА
Пролог к действию 138
Лев КОПЕЛЕВ
От рода к человечеству 156

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО
Лев ЛАРСКИЙ
"Здравствуй, страна героев!" 170

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"
Бьеннале—77 206

Коротко об авторах 216

© "Время и мы"

ПАМЯТИ МИХАИЛА ЛЕДЕРА

Мы понесли большую, невосполнимую потерю — умер Миша Ледер, бессменный член нашей редколлегии, замечательный публицист и переводчик, человек, с именем которого связано становление журнала "Время и мы". Острой болью отзовется уход Миши Ледера не только у всех нас — его безвременная смерть явится тяжелым ударом для его многочисленных друзей в России. Перед ними, своими товарищами по Воркуте, по всей своей прошлой жизни, он считал себя в постоянном неоплатном долгу. Ежедневно из его дома на улице Маханаим в Тель-Авиве уходили письма на Урал, в Сибирь, на Украину, в Москву, письма о том, что происходит "здесь", на Западе, и что так тщательно скрывается "там", в России.

Сегодня мы еще не в состоянии оценить масштабы потери — настолько сильным и разносторонним было его влияние. Даже если вспомнить его мастерские переводы Артура Кестлера, А.Б.Иошуа, Джона Орбаха, его блестящие статьи и эссе, если сказать, что он переводил с двенадцати языков, что не знала себе равных его энциклопедическая образованность, — если перечислить все это и еще многое, что отличало его разносторонний талант, то все равно нечто очень важное так и останется невысказанным. Потому что это "очень важное" совсем из иной области — из области чисто человеческой. Это — редчайшая его непосредственность, его чистота и наивность, какие разве только и могут быть у ребенка. Он и был взрослым и мудрым ребенком, человеком, которого трудно встретить в нашем корыстном и рассчетливом мире. И еще, он не знал никакой меры, никогда и ни в чем — ни в работе, ни в жизни, ни в отношениях с окружающими. Невзирая на смертельную болезнь, он жил буйно и щедро, он не переставая писал, переводил, фантазировал, искуривал по две пачки в день. Он жил так буйно и щедро, что порой становилось страшно за него: сколько же может выдержать человек! Только сам он об этом никогда не думал. Он жил, пока жилось, работал, пока работалось и, говорят, за несколько минут до смерти спросил врача: "Доктор, а есть ли у меня шанс?" Он и в эти минуты думал о жизни, хотел, жаждал жить. Но больше не осталось шанса, и не стало его самого, и надо смириться с мыслью, с которой смириться невозможно...

Виктор ПЕРЕЛЬМАН

И. ВАРЛАМОВА

МНИМАЯ ЖИЗНЬ

ДЖИННЫ

За два дня перед тем, неожиданно, на тот же понедельник, тринадцатое, назначили операцию и Вере Георгиевне. Ее готовили в спешном порядке, она волновалась и нервничала. Палата, сочувствуя, присмирела. Лишь баба Надя жила, как обычно, замкнутой, сосредоточенной на себе, просветленной жизнью.

Аля, Иоганна Карловна, Томка, Роза и Берта говорили шепотом, оказывали Норе и Верушке трогательные знаки внимания. Берта насыпала им смородины, Иоганна Карловна умолила няньку сбегать на рынок и поставила им на тумбочки по букету цветов: Вере Георгиевне — несколько ярких махровых маков, Норе — душистый горошек, обнаружив и в этом бездну ума и чуткости. Верушка сочла бы себя оскорбленной, если красные маки с пушистыми стебельками достались бы Норе, а та не могла нарадоваться своим лиловатым и белым горошкам.

Продолжение. Начало см. в 31 номере журнала.
copyright *И. Варламовой*

В понедельник утром явились им делать укол.

— Теперь ложитесь, — сказала сестра, — и постарайтесь уснуть.

Нора закрыла глаза. Сон не шел. Мысль работала четко. "Интересно, здесь ли уже Илья?" Было тихо. В палате, казалось, никто не дышал. Только слышался звук перевертываемых страниц: по обыкновению, читали Иоганна Карловна и Аэлита. Иногда страницы перелистывались вразнобой, иногда они щелкали вместе, сдвоенным сочным щелчком.

Томка высунулась в окно.

— Твой уже тут как тут, сидит на скамеечке, — сообщила она, обернувшись к Норе.

— Тш-ш-ш! — зашипели на Томку со всех сторон.

— Я не сплю, — открыла Нора глаза. — Будь другом, Томка, сбегай к нему, скажи, что я совершенно спокойна.

— Похвальбуша, — промямлила Вера Георгиевна.

— Молчите обе! — сердито прикрикнула Иоганна Карловна. — Еще поссоритесь напоследок!

— Почему "напоследок"? — уже еле шевеля языком, возразила Вера Георгиевна.

Ей никто не ответил, и она задремала. Нора лежала, уставив глаза в потолок. Она и в самом деле была спокойна. Однако ее спокойствие было какое-то ледяное. Не спокойствие, а хладнокровие... "Пустое сердце бьется ровно", — подумала Нора и улыбнулась.

— В руке не дрогнул пистолет, — произнесла она вслух и скосила взгляд на Иоганну Карловну.

Та тоже, оторвавшись от книги, на нее покосилась. "По-моему, я пьяная", — подумала Нора.

Санитары вкатили в палату кресло и долго возились, усаживая в него Веру Георгиевну. Голова у нее болталась, как колокол. Нора спустила ноги с кровати.

— Сейчас мы за вами приедем, — сказал пожилой санитар. — Обождите.

Нора встала и выглянула в окно.

— Илюша! — закричала она. Он вскочил, задрал голову. — Я иду, до свиданья!

Он послал ей воздушный поцелуй. Она, улыбаясь, ответила тем же.

— Ну, мои дорогие, пока.

— Нора, не хулиганьте, — строго сказала Иоганна Карловна.

— А что? Зачем мне их кресло? Отлично дойду и сама.

— Вас проводить? — испуганно предложила Аля.

— Глупости, — она помахала им всем рукой и вышла за дверь.

Навстречу по коридору поспешно катили кресло.

— Не надо, спасибо, — сказала она санитарам.

— Во дает! — восхищенно воскликнул тот, что был помоложе, вихрастый и рыжий.

Она едва удержалась, чтобы не помахать и ему.

Нора дошла до операционной, открыла дверь и очутилась в чем-то вроде предбанника, где стояли стулья и вешалка в виде столбика с рожками. На одном из них еще слабо покачивался цветастый халат.

— Можно? — спросила Нора, заглянув в операционную.

Комната ослепила ее своей белизной. То была снежная белизна горных вершин. Холодная и сверкающая, вдоль и поперек перечеркнутая серебристыми бликами глетчеров. "До чего у них тут красиво", — вздохнула она.

Кто-то в маске сказал ей:

— Разденьтесь там и сложите вещи на стуле.

— Как! — Нора пришла в ужас. — И потом пойду голая, да?

Маска фыркнула.

— Не рассуждайте, быстрее! — сказала другая.

Их было много, масок. И много белой, гладкокрахмальной материи, и чего-то блестящего, металлического.

Она разделась, босиком ступила на белый, как снег, кафель, и совершенно голая, не зная, куда девать руки, подняв их к груди и затем в отчаянье опустив, прошла под взглядами масок те пять или шесть шагов, которые отделяли от двери ее эшафот.

— Ложитесь, — сказали ей.

Она взобралась на стол и вытянулась на холодной серебристой клеенке. Ей закрепили ремнями запястья и щиколотки.

Ближе всех к ней стояла маска с растопыренными оранжевыми руками. Кто-то придвинул капельницу и в вену у локтевого сгиба всадил иглу. Потом откуда-то сзади, из-за ее головы, подсунул прямо к лицу резиновую вонючую черную плошку и приказал:

— Дышите.

Она начала задыхаться. Сугроб обрушился и залепил ей ноздри и рот. Она подергала руки, ей хотелось смести с лица снег. Но руки ей не принадлежали. Ей ничего не принадлежало. Голый человек на голой земле. В снегу.

Сквозь прикрытые веки она видела огромное круглое солнце, заходящее за голубую вершину. Это был страшный, дымный, кровавый закат.

— Глубже дышите. Дышите глубже, — раздавался над нею механический голос.

— Почем сегодня клубника на рынке? — вдруг спросила одна из масок.

Нора лежала в сугробе. Она не спала. Нежно пахло клубникой. Где-то играли "Джиннов" Цезаря Франка. Или это ей только мерещилось? Но она подпевала.

— Дышите, дышите, — как заведенный, твердил механический голос над ее головой.

— Полтора рубля и дикая очередь.

— Еще нельзя начинать? — спросил сугроб с растопыренными оранжевыми руками.

— Нет. Дышите, дышите. Глубже, пожалуйста.

— Курилка, наверное. Подождем.

— Я... не... курю, — казалось бы, внятно сказала Нора. Но ее не услышали.

— Я... не... курю, — повторила она.

Сугроб не слышал.

— Зрачки, — сказал он.

Ей оттянули веки. Закат догорал. Горы стали розовато-лиловыми. Связанными руками она пробарабанила несколько тактов из "Джиннов". Никогда так ясно и чисто не звучали они у нее в голове.

— Не спит, — произнес граммофон.

— Что ж, начинаем под местной... Шприц! — распорядился сугроб.

— Я... не... сплю!!! — заорала в ужасе Нора.

Сугроб не слышал.

Первый укол она ощутила. А также второй. И третий. Потом ей на грудь навалилась тяжесть. "На меня упала гора", — успела подумать Нора. И все, и ее не стало.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Нора очнулась от боли. Впрочем, нет. Это была не боль. Это была тоска, гнездившаяся где-то под правой ключицей. А она и не знала, что ее неприхотливое тело умеет так тосковать...

Повязка промокла насквозь. На бинте проступило блекло-алое, широко расползшееся пятно. Нору мутило. В палате сумеречно. Над койкой висела табличка: "День первый".

— Пить, — прошептала она. — Пить, пить...

На койке напротив кто-то лежал. Наверно, Вера Георгиевна. Около нее стояла капельница. "Ей еще хуже, чем мне, — подумала Нора. — У нее-то ведь полосная..." Пить, пить.

Тоскует весь правый бок, тоскует плечо. Тошнит. В палате быстро темнеет. Веры Георгиевны не слышно. Она в забытьи. Дверь в коридор распахнута настежь, там горит свет, люди ходят, смеются. Издалека доносится чей-то крик. На одной, нескончаемо-длинной ноте: "А-а-а-а!" Странно, что люди могут такое терпеть. Странно, что это бывает на свете. Раньше Нора боялась боли. Теперь она ее не боится. Она знает, что боль — это просто тоска. От которой только и остается кричать: "а-а-а". Но вынести все-таки можно.

— Эй, вы куда? Вы куда, гражданин? Эт-то еще что за фокусы? А ну, сейчас же назад! — слышит Нора голос дежурной сестры.

"Илья, — догадывается она. — Больше некому, это Илья".

— Доченька-лапушка, кисанька-солнышко! Это вам, — он ей преподнес, вероятно, какой-то подарок: конфеты или цветы. — Пустите меня на одну минутку. Я только взгляну,

вот честное комсомольское. Ну что ты хмуришься? Поверь старому каторжнику, — с некоторых пор Илья любил себя так называть, — девушка должна всегда улыбаться. И замужество ей обеспечено... Ну, как? Можно?

— Какие вы, посетители, несознательные! Можно да можно, а мне влетает.

— Не влетит. Я с Еленой Ароновной договорился, — врет он нахраписто и вдохновенно.

И вот он входит в палату. В освещенном из коридора проеме вырисовывается его угловатый, стройный силуэт.

— Дуся моя, ты где? Фу, темнотища! — он останавливается, боясь что-нибудь опрокинуть.

— Я здесь, Илюша, — тихо подзывает она.

Он идет на голос, ощупью придвигает себе табуретку, садится, берет ее руку, целует.

— Живая?.. Милый ты мой... А я ведь, как обещал, весь день проторчал на скамейке у входа. Ты это знала, чувствовала? Я был все время с тобой. Купил по дороге газету, сижу, пытаюсь читать, буквы скачут, как блохи. Закурю, побегаю по двору, сяду снова.

— И так ничего и не ел?

— Ел, ел. Тетя Домаша дала мне с собой бутерброды. Обо мне не волнуйся: даже слетал в молочную рядом, выпил кефиру. Мчался обратно, как угорелый: вдруг пропустил Елену Ароновну? К счастью, нет. Дуся моя, — он нежно касается пальцами ее лба. — У, какая горячая, потная. Здесь у вас вовсе нечем дышать. Потерпи, мой родной, главное теперь позади. Скоро пойдешь на поправку. Я уже знаю, какая ты героиня. Как ты отказалась от кресла, как ты красиво шла... Я прямо горжусь тобой. Сегодняшний день самый трудный, но вот он уже проходит... Я дождался Елену Ароновну и проводил ее до метро. Она говорит — ты прекрасно держалась. Скромно, достойно, ни разу не пикнула...

— А по-моему, я кричала, — сознается она.

— Нет, нет. Елена Ароновна тобой не нахвалится. Только вот долго не засыпала.

— Я слышала музыку "Джиннов", — вдруг вспоминает Нора. — И солнце садилось. Красное-красное...

— Это наркоз. А сейчас тебе больно?

— Нет. Просто немножко тоскую. Не я. А то место. Там какая-то скука. И хочется пить.

— Сегодня нельзя. А завтра я принесу тебе соки. Постарайся уснуть, малышастик. Ох, какая ты потная. Хочешь, я на тебя подую?

Он нагибается к ней и дует в лицо.

В эту минуту входит сестра.

— Посетители, все же надо совесть иметь!

— Почему она меня называет во множественном числе? — очень весело восклицает Илья. — Ты не знаешь?

— А как же вас называть? По-моему, я вас не обидела. Идите, идите. Просились всего на минутку, а сами...

— Иду, моя прелесть. Желаю удачи. Вот вам денежка и последите, будьте добры, за моей женой. Нельзя ли ей лед на голову?

— Я послежу. Ой, что это вы? Много.

— Не много, не много. Вас надо осыпать бриллиантами. Такая красавица, правда, Нора?

— Выдумывают, сами не знают чего. Идите.

— Иду. И буду здесь рано утром. Как штык. Постарайся уснуть.

— Постараюсь.

Илья исчезает. Сестра возвращается с резиновым пузырем. Он холодный и мокрый.

— Спасибо. Какое блаженство!..

— Я вам еще губы смочу, — говорит сестра. — А чудной у вас муженек. Все шутит! Хотя и старый.

— Да он не старый. Он гораздо моложе меня.

— Ну, это вы загинаете. Извиняюсь, конечно. Просто характер имеет легкий. Точно, как мой супруг... Умора! Откройте рот, я вам водички с ложечки. Самую каплю.

Это как раз та сестрица, по имени Галя, которая ей сказала в тот вечер: "Еще тюкнете по башке!" Но Галя забыла об этом. И вот теперь сжалилась, напоила каплей воды.

— Вы не поверите, с чего у нас с Ленькой моим началось. Животики надорвешь! Хотите послушать?

— Рассказывайте, — незаметно вздыхает Нора.

Ей малость не до того, но что делать? Обидишь девчонку — потом и не подойдет.

— Иду это я по Бауманской, — взахлеб, совсем, как дети, которых изображает Рина Зеленая, начинает Галя, — а он понарошке толкает меня и давай заигрывать. "Мамаша, — говорит, — у вас что-то выпало". Ну, я, конечно, не растерялась: "Подберите, — говорю, — папаша, пока тепленькое". — Она заливается смехом, тоже детским и хриплым. — Гляжу, а он идет за мной следом до самого общежития. В комнату вваливается и говорит: "Завтра, мол, в Харьков еду. В командировку. Может, чего привезти?" Ну, я опять же не растерялась. А что? Раз сам предлагает, правда же? "Привезите, мол, груш. Я сильно груши люблю". — "Ладно, — говорит, — привезу". Галя хохочет. — И что бы вы думали? Привез, паразит! Является в общежитие. С чемоданчиком. "Вы, что ли, девушка, груши просили?" А я одевалась на танцы. "Ну, я". — "Гоните десятку". Раскрыл чемодан, а там полно груш. Да прямо одна к одной. Не жалко десятку отдать. Достала деньги, кладу на стол. "Берите, и наше вам с кисточкой!" Он не уходит, расселся. "Так, — говорит, — не отделаешься". Ну, это мне не понравилось. Не уважаю, когда меня на Бога берут. — Голос у Гали становится металлический. — "Спасибо, что привезли, — говорю, — а теперь мотайте отсюда, лично я на танцы пошла". Он сидит, как приклеенный. "Хоть коменданта зовите, хоть, — говорит, — мильтона, — с места не двинусь". Так, паразит, и остался. Ну, и это. Ругались, ругались мы с ним… Да разве его переспоришь? Сошлись и живем. Вот уж скоро два года. — Галя воркует голубкой: — И знаете, я нисколько не жалуюсь. Веселый, руки не распускает. Ну, выпьет когда. Шоферюга все-таки. Да и кто же нынче не пьет?

— Тошнит, — стонет Нора.

— А я вам сейчас таблеточку дам, авось, полегчает.

Какая тоска!.. Временами Нора задремывает, потом просыпается. Ей тягостно, душно, дурно. Порой кто-то длинно кричит вдалеке: "А-а-а-а-а..." Вера Георгиевна лежит, не шевелится. Свет в коридоре уже погашен, лишь настольная лампа за ширмой отбрасывает желтые отблески на линолеум.

Она, наконец, уснула и приснился ей сон. Будто шея вдруг стала расти, тончать, удлиняться, а голова, протиснувшись между прутьями в изголовье кровати, взмыла, как шарик на ниточке, к потолку. А Нора будто снизу наблюдает за ней и видит, что голова, пометавшись, побившись там, наверху, затылком вдруг устремляется к форточке и вылетает на улицу. Теперь голове стало легче, лицо овевал ночной воздух, волосы шевелились, она ныряла в белесый пар облаков, купалась в них и выныривала с осевшими на щеках и на лбу прохладными капельками и, пожалуй, умчалась бы прочь от больницы, от спящего темного города, когда бы не шея, которая ее еще связывала с беспомощно распростертым на койке телом. Нора сама не знала, где находится то, что есть ее "я", — там, с витающей в облаках головой, или здесь, с этой жалкой, ноющей, низменной плотью. Сердце стискивал страх: что, если шея не выдержит натяжения, лопнет, и голова улетит, затеряется в черной пустыне неба?

Она проснулась в холодном поту. Сестра стояла над ней и щупала ее руку. Галины пальцы нервно бегали по запястью — выше, ниже, что-то искали, видимо, пульс, — потом отбросили, почти оттолкнули безвольно упавшую кисть, и Галя опрометью выскочила вон из палаты.

— Аркадий Борисыч, скорее, скорее, — орала она в телефон, — у меня тут ниточка, ниточка!

Нора подумала, усмехнувшись: "Не та ли уж ниточка, на которой летала моя голова?"

Вскоре в палату вбежал вместе с Галей какой-то гигант — наверно, дежурный врач.

— Вот она, эта больная, — сказала Галя. — Как она у меня застонет, как захрипит… Ну, думаю, все.

— Что вы чувствуете? — спросил гигант, беря Нору за руку.

— Не знаю. Как будто я отсидела обе ноги… И даже вокруг рта как будто мурашки бегают, — слабо ответила Нора. И вдруг, оживившись, спросила: — Я что, умираю?

— Не болтайте-ка ерунды, — грозно прикрикнул он. — Галя, быстро, глюкозу и кальций в вену, затем — капельница с адреналином и мезатоном.

Засуетились, забегали, игла в вену, запах эфира, снова игла в вену... И пропала тоска. Так же мутило, так же хотелось пить, а тоски не было. Нора усердно прислушивалась к себе. Не каждый день человеку случается умирать.

КАЖДОМУ СВОЕ

Однажды к Вере Георгиевне в полном составе нагрянуло "белое духовенство", и "крошка Цахес", профессор, откашлявшись, торжественно объявил, что она вытащила счастливый лотерейный билет, что у нее не рак, а самый что ни на есть ординарный, вполне доброкачественный полип. Все стали хором ее поздравлять, и каждый по очереди к ней подходил, пожимал и тряс руку. Еще бы! Исключительный случай, один на тысячу, а то и на десять тысяч! Затем, возбужденно переговариваясь, они удалились, и Нора с Верой Георгиевной остались одни.

Вера Георгиевна чувствовала себя еще плохо — как-никак у нее был взрезан живот, ей даже пить пока не давали — и заговорила она еле слышно, каким-то хнычущим голосом:

— Что это, Нора? Что это? Неужто не врут?

Нору, как ей показалось вначале, привел в раздражение именно этот ее неуместный, плаксивый тон.

— То есть, как это врут? — возмутилась она. — Какой же им смысл? Вам бы радоваться, а вы... И не совестно? Врут! Мне же вот ничего не сказали! — и тут она поняла, что ее так покоробило.

Хоть Вера Георгиевна в палате была не одна, никто из врачей, включая Елену Ароновну, не подумал, что совершает по отношению к Норе пускай не жестокость — бестактность. Ее в ту минуту для них не существовало. На нее и взгляда не кинули. Столпившись у койки Веры Георгиевны, стояли к Норе спиной.

А впрочем, и Верушка, несмотря на их поздравления (безусловно искренние) и рукопожатия (тоже от всей души), была, возможно, для них не более, чем медицинский казус, один на тысячу, весьма любопытный с точки зрения науки.

Норе вспомнилась одна женщина из больницы имени Склифосовского. У Норы был перелом лодыжки, тяжелый, открытый, с подвывихом, но случай не интересный, вполне рядовой — только у них в палате насчитывалось три подобных же травмы. А у той женщины, зацепившейся каблуком за подножку троллейбуса, отломился кусок пятки. Ей эту пятку прибили гвоздем, и женщина скоро поправилась. Студентов, однако, водили к ней целыми табунами. "А тут у нас пяточка", — говорил профессор неподражаемым тоном, в котором слышалось и лукавство, и гордость, и удовольствие. Глаза у него блестели, будто в них только что закапали белладонну, седые мохнатые брови, морща в гармошку лоб, играли и вскидывались. Женщина была умна и интеллигентна, она веселилась, подыгрывая профессору, но, прощаясь с Норой, сказала без всякой горечи, с юмором: "Разве я была для них человеком? Просто занятная пятка! Что ж, я не в претензии. Зато мне отлично сделали операцию".

Вот и Вера Георгиевна войдет в анналы больницы, как человек-полип. Обижаться на это глупо. Врачей ведь тоже можно понять. Здесь настоящая фабрика, унылое производство по вырезанию раковых опухолей, и такая приятная неожиданность, как безвредный полип желудка, — это праздник, настоящая фиеста, которую им охота обставить подобающей случаю церемонией.

Нора смягчилась.

— Вера Георгиевна, — с чувством сказала она. — Я вас поздравляю.

Но за то время, пока Нора все это обдумывала, настроение Верушки тоже успело перемениться.

— Спасибо, спасибо, — снисходительно отвечала она, уже отдалившись от Норы, от этого скопища обездоленных и несчастных, от больничного мертвого мира.

Верушка часто разглагольствовала о том, как она любит советский народ, особенно женщин. "Я за них душу отдать готова, — говорила она, — квартирку, путевочку выбить, устроить сына в Нахимовское училище — буквально во всем иду им навстречу!" Так оно, наверно, и было. Но женщин она любила лишь выносливых, боевитых, неунывающих.

А в больнице она впервые столкнулась с какими-то странными, чахлыми, стонущими и, главное, строптивыми существами. Но что ей было особенно тяжело — болезнь грубо отторгла Веру Георгиевну от массы, незаметно выветрила ее из этой глыбы, из монолита и превратила в такую же, как и прочие здесь, ущербную личность.

Но вот же есть справедливость на свете! У Веры Георгиевны не рак, она вскоре выздоровеет, уйдет из больницы и забудет своих товарок, как забывают, окунувшись в дневную текучку, кошмарный ночной сон.

Дело в том, что народ не болеет раком, рак — печальная привилегия отдельных неслухов, заслуженная кара за наглость, за опасную автономию. Теперь всех этих злосчастных, с придурью баб можно и пожалеть. И она сказала:

— Ничего, вы тоже, может, поправитесь, Нора. И вернетесь в строй. Наши замечательные врачи...

— Не утешайте меня, — перебила Нора. — И не чувствуйте себя виноватой. Я вам не завидую.

— Как это? — искренне удивилась Вера Георгиевна.

— Так. Не завидую. У каждого своя доля. "Yedem — das Seine".

— Чего?

— Такая надпись была на воротах фашистского лагеря "Бухенвальд": "Каждому — свое".

— Точно! — воскликнула Вера Георгиевна. — То есть... Я не то хотела сказать... В общем...

— Да вы не пугайтесь, — любезно улыбнулась ей Нора. — Не надо меня бояться.

И обе умолкли.

А на следующий день Елена Ароновна перевела Нору из послеоперационной палаты в прежнюю, где за ней сохранилась койка. Пожелав соседке всего наилучшего, Нора ушла.

Едва она появилась в своей палате, Томка кинулась со всех ног расстилать ей постель, Иоганна Карловна, подняв от книги глаза, сказала: "Ну, слава Богу, люблю, чтоб все наши были на месте", Берта, ни слова не говоря, поставила на ее тумбочку миску с натертой морковью, Роза подошла и звонко чмокнула в щеку. "Мои, — подумала Нора. — Мои".

СДОХНУТЬ СВОБОДНОЙ

Когда два года назад Нора вышла от Склифасовского на костылях, она поразилась, сколько в Москве людей со сломанными ногами. И тот идет в гипсе, и этот... Так и сейчас. Стоило ей спуститься во двор, как сразу она обратила внимание на то, чего прежде не замечала. Чуть не каждая третья женщина была кособокой.

Особенно страшно было смотреть на толстух — у, как их безобразила яма на месте одной из грудей! "Неужели и я такая? — подумала Нора. — Ничего себе, амазонки!"

Было во внешности этих женщин еще что-то неуловимое, неприятно отличавшее их от прочих. При картофельно-бледной одутловатости черт — их странная жесткость, суровость, таящаяся в выражении глаз, в складе губ, в овале лица.

Едва Нора, устав, успела присесть на скамью, как к ней подошла высокая, полная женщина с огромной бородавкой над бровью, похожей из-за подстриженных седых волосков на репей.

— Ну как, подруга, тестостероном еще не колют тебя?

— А что это?

— Мужские гормоны, — ответила женщина и, поколебавшись, подсела к ней на скамейку. — Мне вот колют, — продолжала она, — так я прямо ума решилась. Ты глянь, на кого я похожа? Мужик и мужик! Титька — что, титька — хрен с ей. Как выйду отсюда, насыплю в мешочек льняное семя, засуну в лифчик, никто не заметит. А голос? Ведь бас у меня прорезался, ну чисто — Шаляпин! А главное... Броюсь ведь я, подруга. Каждое утро в туалете броюсь! Щетина, как у свиньи — потрогай. Ну, можно ли дальше жить? Перед детями, они у меня уже взрослые, перед соседями стыдно! — она заплакала.

Нора лишь теперь поняла, что выделяло в толпе этих женщин, ее подруг по несчастью: их м у ж е п о д о б н о с т ь.

— А это потом не пройдет? — дрожащим голосом спросила она.

— Да врачи-то сулят, — сморкаясь и всхлипывая, ответила

женщина. — Они хоть с три короба наобещают... Им что? Только бы с рук сбагрить!.. Тебя когда оперировали?

— Пять дней назад.

— Скоро еще облучать начнут. Меня на десятый начали... Вот тоже мука! Слабость одолевает, мутит, голова кружится. Лейкоциты, что ли, какие-то падают? В общем, это... Вдряпались мы, подруга. По уши мы, подруга, в говне сидим...

Она снова заплакала. Слезы текли, заливали ее лицо, обрюзглое, бледное, заросшее седоватой щетиной, по подбородку, щекам и выпирающей под ним круглым валиком шее.

— Тут одна женщина есть, — продолжала толстуха, обтеревшись влажным платком, а потом еще и полой халата, — ни за что, говорит, не дамся тестостерон этот самый колоть. Очень, говорит, надо! У меня, говорит, муж молодой! Поживу, говорит, бабой, сколько удастся, а сдохну — туда и дорога. И еще одна есть, с четвертого этажа. Той прошлый год одну титьку отрезали, а нонешним летом — вторую... Да вон она! Катя, Катя, подь-ка сюда!

К ним приблизилась стройная, среднего роста женщина, такая худенькая, что халат чуть не дважды обертывался вокруг ее талии. Темно-русые волосы, разделенные на прямой, не модный нынче пробор, были небрежно завязаны на затылке шнурком, так что сзади торчал короткий растрепанный хвостик, похожий на малярную кисть. Круто обсыпанное веснушками, размером и цветом, как жареные зерна гречихи, лицо ее, тем не менее, было отмечено строгой значительностью. И если б не хвостик, она бы напоминала народницу или курсистку конца девятнадцатого столетия.

— В чем дело? — спросила женщина.

— Рассказала бы нам, почто не хочешь колоться, почто от рентгена отказываешься... Может, наука чего превзошла, а мы и не знаем? Садись-ка, садись, в ногах правды нет. Ну?

Катя нехотя опустилась на кончик скамьи, а толстуха, вся подавшись вперед, с доверчивой и тем особенно жалкой улыбкой приготовилась с упованием слушать.

— Почто? — усмехнулась Катя. — Нет, про науку мне ничего не известно. По науке оно, возможно, и правильно. Да только

мне не подходит. Я могу им позволить вырезать опухоль. Но менять мою личность! Это — увольте.

— Как — менять личность? — удивилась толстуха. — Что борода-то на личности вырастет и усы?.. Ладно, это уколы. А облучение?

— Все! — воскликнула Катя. — Все вместе меняет личность. Я имею в виду — мою бессмертную душу. В тридцать два года искусственно вызовут климакс, насильно навяжут чуждые мне пороки, капризы, перекроят по своему произволу характер... Нет-нет, я желаю остаться собой.

— Что ж, и характер зависит от облучения? — в полной растерянности спросила женщина с бородавкой.

— Не знаю. Но слишком уж глубоко вся эта не очень понятная химия, не изученные лучи проникают в наш организм, и толком никто не знает последствий. Вот, например, облучают гипофиз. Говорят, что для подавления гормональной деятельности. А если они заодно убьют мозг? Я не могу допустить, чтоб мне убивали мозг. Или уколы тестостерона. Вторичные половые признаки, — безжалостно кивнула она на толстуху, — уже налицо, полюбуйтесь на Лиду! А нрав? Разве натура женская не отличается от мужской? Я бы не прочь превратиться в мужчину, но не по прихоти химии или каких-то лучей!

Углы ее губ презрительно опустились.

— Без груди я все-таки человек. А вот с вывернутой наизнанку душой... Нет-нет, без меня! До свиданья, — сказала она, не трогаясь со скамьи и уставившись в одну точку.

Лида заплакала.

— Бывайте здоровы, живите богато, — угрожающе добавила Катя, словно обращаясь ко всему человечеству. — Лично я собираюсь сдохнуть свободной.

И опять надолго умолкла.

— Мало формует нас общество! — вдруг злобно сказала она. — Так еще медицина начнет разливать людей по изложницам! Не пойдет.

Заметив пристальный взгляд Норы, Катя надменно вздернула брови.

— Думайте, что хотите. Плевать мне на это. Можете даже стукнуть. Я больше не досягаема.

Вот тут она встала и, пряменькая, удалилась, не оборачиваясь.

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ АВРААМА

— Кто эта девушка? — тихо спросила Нора.

— Какая-то чокнутая. Наговорила-наговорила, семь верст до небес! Ничего я не усекла, — вздохнула толстуха. — Бывайте, говорит, здоровы, живите богато! Уж и не рада, что позвала. У самой, небось, денег навалом, так думает, что у всех. К ей батька сюда на машине подкатывает. Генерал. На штанах полоски нашиты. Ва-аж-ная птица!

— А она не работает?

— Так, время проводит. Не бей лежачего, одно баловство! Статуи вырезывает из дерева... Не то, что, как я, к примеру, в подсобке. Да где? В винном отделе. Потаскай-кось ящики с пивом — кишки оборвешь! У меня уж и без того упущение матки. А теперь и вовсе: под рукой-то подрезано... И до пензии далеко, — Лида заплакала.

Нора решительно встала. Голова у нее кружилась, колени дрожали, но и слушать дальше толстуху не было сил. А кроме того, ей надо было скорее переварить слова Кати: "разливать людей по изложницам" и — "можете стукнуть!"

"Да как она смеет? Не досягаема... Вот сейчас найду ее и скажу... Но что за безумица! Мало формует нас общество... А отец генерал. Занятно! Поговорить бы с ней... Какая тоненькая, прямая... Стукнуть! За это дают по морде... Нахалка! Да вот она, с Аурелиу!" — Нору ударило в самое сердце.

Аурелиу, по ее представлениям, принадлежал ей одной. Улыбаться он мог всему свету. Дружить — дружить только с ней. Он же ей дал талисман. Он ей рассказывал самое заповедное... И вдруг - эта Катя.

Нора их обогнала, не повернув головы. Неужели он не окликнет? И не подумал. О чем они там говорят? Ни слова не слышно... Да знает ли он, что у Норы была операция? Ты же все чувствуешь, ясновидец! Ты же мысли умеешь читать, шарлатан!

Повернувшись — так резко, что чуть не упала, — Нора пошла им навстречу. О, какой же он маленький и смешной! Седой хохолок надо лбом вздыблен ветром. Аурелиу улыбался, но даже его улыбка показалась ей вымученной и фальшивой.

— Здравствуйте, — сказал он. — Как я рад, что вы уже на ногах! Познакомьтесь, пожалуйста.

— Мы знакомы, — буркнула Катя.

— Эта женщина только что меня оскорбила, — холодно глядя ей прямо в лицо, заявила Нора.

Катя с минуту молчала.

— Вы должны извиниться, Катя, — тихо сказал Аурелиу. — Не знаю, что между вами произошло, но только вы непременно ошиблись. Я в этом уверен.

— Возможно, — сказала она. — Простите.

— Милые, — попеременно заглядывая обеим в глаза, сказал Аурелиу, — нельзя вам чураться друг друга! Хотите, я вас оставлю? — и, попятившись, он отступил шага на три, потом повернулся и поспешно засеменил от них по аллее.

— Ну и чудак, — помотала головой Катя. — Сядем, пожалуй. Вас как зовут?

— Нора.

— Я что-то там брякнула, извините. Вы что в этой жизни делаете?

— Пишу...

— А я реставратор. Работаю в мастерских. Занимаюсь русской деревянной скульптурой... Кроме своих Георгиев да Никол я все ненавижу. А вы?

— Я — нет. Далеко не все. А вы — прямо все? Но это ужасно... Я... я не верю. Почему вы такая?.. Это, наверное, от болезни. Болезнь наша кого угодно с ума сведет...

— При чем тут болезнь, — махнула Катя рукой. — Она уж скорее следствие.

— А правда, что ваш отец — генерал? — спросила Нора.

— Именно. Да не какой-нибудь, а чекист. Осуждаете? — Катя словно торжествовала.

— В общем, да, — с запинкой сказала Нора. — Не вас, конечно. А этих людей.

— Имеете основание?

— Имею.

— Так. Ясненько. Муж?

— И муж. И отец. А впрочем... Если бы только они...

— Угу... Но мой старик по-своему честный. Да. И тоже сидел, между прочим. За то, что не предал друга. И ведь куда попал-то? В Норильск. Они там чуть ли не целый год не знали, что началась война. А однажды гонят их на работу — валяется спичечный коробок. Отец поднял. Обрадовался. Спички — это же ценность! Незаметно сунул в карман. А остался один — вынул. Там бумажка какая-то, со стихами. "Жди меня, и я вернусь". Прочел, понравилось, заучил наизусть, бумажку порвал. Даже в голову не пришло, что стихи — про войну. Кто, как не зэк, такое напишет? "Жди, когда других не ждут, позабыв вчера". Прочитал в бараке, кое-кого проняло аж до самой печенки. И пополз по лагерю слух. Стали к нему приходить: прочти-ка свои стишата, больно, говорят, хороши. Докатилось и до начальства. Сначала до младшего. Вызывают: "Твои стихи?" Мои, мол. "А-а, сук-кин сын, бежать задумал? Как это так — вернусь?" Потом и до старшего. Тот с маху: "Не стыдно вам плагиатом-то заниматься?" Почему — плагиатом? А потому, говорит, что стихи эти Симонов написал. Какой? Константин? Да. Отец прямо за голову схватился. Батюшки-светы! Неужто и Костя сидит?.. Они с Симоновым на воле были знакомы... Вот так он узнал про войну. Ясненько?

— Интересно, — сказала Нора.

— А вернувшись домой, он застал у мамы любовника. Тот сидел и пил чай в отцовской пижаме. Отец, не сказав ни слова, ушел. А идти ему, прямо сказать, было некуда... Теперь он женат, имеет двоих детей, но меня не бросил. Учил. До сих пор помогает. Хотя я и замуж успела сбегать. Деньги беру у него через раз. Совсем отказаться — вроде брезгую им... А вы брали бы деньги у такого отца?

— Не знаю. Мне трудно себе представить... У меня был другой отец... — А какой у него характер? — спросила Нора.

— Характер? — задумалась Катя. — Разве тут дело в его характере? А вообще-то, вот две истории. Можете судить сами. Идет он как-то по Красной площади, жена висит на его руке — она его обожает — и вдруг говорит: "Петя, Петя, какое все-таки счастье, ты здесь, а он там" — и кивает на мавзолей. Это она про Сталина. Отец вырывает руку, рычит: "Мерзавка! Мерзавка!" Не потому, что такой сталинист. Ума у него хватает. А просто заело: как она может смешивать личное и общественное... Теперь — вторая. Приходит к нему человек, приносит "телегу". Да на кого? На родную жену. Что в самый разгар кампании против Борис Леонидыча она в гостях предложила тост за эту ракалию. "Да-а, — протянул отец, — изрядная вы скотина!" И предупредил жену того типа: учтите, мол, с кем живете. Да только помалкивайте, что я вам сказал, не то в другой раз не ко мне, а к кому повыше с "телегой" пойдет... Ясно? Вот он какой. Не самый худший вариант, правда? Но мне не подходит все остальное.

—Что?

— Хотя бы вот мавзолей. Это что за идея такая? Дикость. Восток. Индия!.. Или пресловутое "частное — общее". Почему это у нас антитеза? Почему человек всегда агнец, приготовленный для заклания? Как в Ветхом Завете: жертвоприношение Авраама. Однако даже суровый еврейский Бог отказался от жертвы. Наш Бог не отказывается. У нашего вся бородища в крови... Или ситуация с этим типом. Зачем он "телегу" принес? Испугался, голубчик. Свидетелей было много. Но, с другой стороны, а как же не испугаться? Почему нас ставят в такие условия, что мы должны бояться свидетелей? Я не желаю больше бояться. Так я решила: не бояться, и все. И не врать.

— Не врать? — удивилась Нора. — Но это не так уж трудно. Я тоже не вру. Почти. А что толку?

— Не врете? — воскликнула Катя. — О нет, вы врете. Вы врете на дню сто раз! Все врут. Ложь во спасение, ложь из трусости, ложь во имя идеи, ложь, как милостыня, ложь ради пользы дела или просто ради удобства, ложь материнская, обывательская, гражданская, ложь зайца, осла или тигра

(несть числа ее разновидностям, ее хитрым увертка-
м!), и люди врут, врут, врут — даже самые лучшие, как наш Ауре-
лиу. Даже святые. Знаете, Нора, ведь он святой. Обыкновен-
ный святой. В это не верится... Но когда явился Иисус, и в не-
го ведь никто не поверил. Люди настолько испорчены, что пу-
тают святость с лукавством. И все-таки Аурелиу врет. Мы
сейчас спорили с ним. Он говорит: надо. А вы как считаете?

— Разве из милосердия? — полувопросом ответила Нора.

— Он тоже кивает на жалость. Но где же границы? Любую
неправду можно тогда объяснить сочувствием к человечеству.
Мол, так ему лучше — не знать. Спокойнее. Не знать про Но-
рильск, про Освенцим — подумайте! Миллионы русских и
немцев понятия про них не имели и были счастливы. Что вы
на это ответите? Что?!

Нора молчала.

— Нет, я давно пришла к мысли: человек важнее вселен-
ной. Счастье одного человека весит больше, чем счастье мил-
лионов. Миллионы не имеют права жить счастливо без того,
одного.

— А вы... вы, Катя, согласны, — спросила Нора, — для
счастья миллионов, для счастья этих заблудших — стать Иса-
аком, жертвой?

Катя раздумывала, потупив долу свои непреклонные очи.

— Я-то согласна, — скривившись, сказала она. — Да им-то
счастья не будет.

Обе умолкли. К ним подошел Аурелиу. Он улыбался.

— Мучает? — спросил он. — Поборница правды — мучает?

— Мучает, — ответила Нора.

— Вы бледны, — сказал он. — Вам надо лечь. Мы вас прово-
дим.

Они встали, и Аурелиу взял Нору под руку. У него оказа-
лась твердая, властная хватка, совсем неожиданная.

ВЫСШАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Вечером Нора встретила Аурелиу в коридоре.

— Я вас тут караулил. Нам надо поговорить... Не слушайте
Катю, прошу вас!

— Как так — не слушать? Она говорит интересные вещи.

— Верно. Человек она замечательный, в своем роде... Но я о
другом. О лечении.

Быть может, впервые с тех пор, как они познакомились, ни
один его глаз не смотрел на нее. Лицо Аурелиу показалось ей
искаженным болью. Он даже не улыбался.

— Как? Вы, прирожденный мистик, в данном случае стоите
за рацио? По-вашему, надо следовать разумным советам вра-
чей?

— Да! — воскликнул он. — Да! Катя не верит ни в химию,
ни в лучи. Она одержима идеей сохранить свое "я" в неприко-
сновенности даже ценою собственной жизни. Но жизнь не-
восстановима. Я это знаю. Слишком хорошо знаю. Ничто, ни-
когда не вернет мне брата... У всякой жизни есть свое назначе-
ние. И пока оно не исполнено... Вы не должны погибнуть. И
вы непременно выкарабкаетесь, я вам обещаю!

Вот тут, поборов усилием воли свое косоглазие, он напра-
вил Норе в лицо прямой, очень темный взгляд.

— Послушайте, Аурелиу... Я еще ничего не решила. Но это
ведь правда ужасно — то, что меня, нас всех, таких, как я,
ожидает... Меня и так уже изуродовали...

Он сделал резкое протестующее движение.

— Да, изуродовали, — со злым упрямством повторила она.
— А потом еще каждое утро бриться? Покорно благодарю!

Он сказал:

— Ах, Нора, Нора... Какое это имеет значение?

— Перед лицом вечности — может быть, нет, а так, в обы-
денной жизни, имеет. Имеет! — сказала она. — Пускай я ме-
щанка в ваших глазах. Все лучше, чем... Аристократизм —
вот, чего я боюсь... Как черт ладана! Вот уж откуда не вы-
браться. Смерть прежде смерти... Но главное все-таки — мозг.

Молчите, — остановила она его. — Я знаю, что вы мне скажете: облучение гипофиза ни у кого из пациентов идиотизма пока не вызвало... А много ли среди них было... ну, хоть бы тех, кто пишет? И ведь этим варварским способом лечат одних только женщин, да притом, лишь с моей болезнью. Скольким пишущим женщинам облучали гипофиз? Станете ли вы утверждать, что за ними велось многолетнее наблюдение? Вряд ли они интересовали врачей в этом плане! Уверяю вас, Аурелиу, статистика тут безмолвствует. Так что все не так просто, увы.

— Кто говорит, что просто, — ответил он. — Но вас нисколько не изуродовали. Наоборот.

— Да перестаньте же, Аурелиу. Право, смешно.

— А мне смешно, что вы мне не верите, Нора. Печать страдания на вашем лице, на всем вашем облике...

— О да, конечно! — бешено вскричала она. — Это как раз та печать, что приводит мужчину в восторг! Они прямо тают, млеют при виде этой печати!

— Я, между прочим, мужчина, — сказал Аурелиу. — Заявляю вполне официально.

— Вы? Вы? — она задохнулась. (Никогда он не перестанет ее удивлять.) — Но вы же...

— Юродивый? — он улыбнулся. — Но вам ведь это и нужно. Вы именно это и ищете! Так вот, запомните хорошенько то, что я вам скажу: вы прекрасны, Нора. И если у вас изменится голос, он станет еще приятнее — своей хрипотцой, своим тембром. А пушок на лице — ну, что ж... он только придаст вам шарм. Ничто вас не в силах испортить! И знайте, что есть человек... Одним словом, живая душа, для которой... — Аурелиу взял ее руку.

— Надоела мне ваша блажь! — рассердилась она и попыталась выдернуть руку. Он не отдал. — Вы говорите с какой-то другой женщиной, не со мной. Из жалости вы даже стали разыгрывать роль, отнюдь вам не свойственную: мужчины, который готов меня полюбить... Но если хотите знать, это подло! Подло! — Нора с силой вырвала свою руку.

— Но почему же "готов"? — мягко сказал Аурелиу. — Я вас уже люблю.

— Ложь — вскричала она. — Мелкая, глупая ложь! Так, как вы меня любите, я вас тоже люблю... Ну, и что? Вам от этого легче?..

Он немного подумал.

— Слушайте, Нора. Я бы, наверно, вас убедил, если бы в моем тоне невольно не прозвучал сюбжонктиф... Опухоль у меня застарелая, острозлокачественная. Я говорил правду, но в сослагательном наклонении. Будь я здоров...

— Будь вы здоровы, — горько сказала она, — вы б в мою сторону даже не посмотрели, а удрали бы от меня в тридесятое царство. Потому у вас так легко и текли все эти цветистые фразы...

Он тяжело вздохнул.

— Вы очень несчастны, Нора?

— А вы разве счастливы? — огрызнулась Нора.

— Видите ли... — сказал Аурелиу.

В этот момент сестра погасила свет, и коридор почти весь утонул в темноте. Только в прорезях ширмы ярко сияла настольная лампа.

Аурелиу и Нора стояли у подоконника, прямо напротив палаты смертников. Там этой ночью ждали кончины Любови Михайловны — той самой, у которой был удален мочевой пузырь и чей муж, как верно отметила Паня, совсем перестал ее навещать. Уже целые сутки она была в забытьи и не видела оставленных сыном у ее изголовья красных гвоздик, а то, что она жива, подтверждали лишь редкие капли мочи, стекавшие через трубку в бутыль под кроватью.

— Видите ли, — уже шепотом повторил Аурелиу, — со мной-то все справедливо. Так что я даже отчасти рад.

— Рады? Чему?

— Если нас не прогонят, хотите, я доскажу вам свою историю? Здесь очень уютно. Садитесь на подоконник и дайте мне руку. Вот так. И не надо ее вырывать. Ну-с... На чем мы остановились?

— Отца увезли в карете.

— Да. Но, как часто бывает с буйными, он быстро поправился и вернулся домой. А я продолжал тосковать по маме и

брату. Впрочем, я ел, пил, дышал и даже однажды сильно расстроился, порвав рукав гимназической курточки. Словом, я не лежал, как они, в гробу, а гулял по земле... Вам удобно сидеть?

— Да, да.

— И вот как-то ночью я проснулся от жажды. Встаю, прохожу темной комнатой, где у нас спала экономка, и вижу пустую кровать. Тогда я, не долго думая, кидаюсь по внутренней лестнице в спальню отца, врываюсь, пащенок, без стука и зажигаю свет. Они лежат вместе. "Мама! — кричу я. — Мама!" Это было ужасно. Я в ту же ночь убегаю из дома, и это уже навсегда... Приютил меня один старичок, друг нашей семьи.

— А отец?

— Отец приходил, топал ногами, орал, проклинал... Я не слушал. Окончив гимназию, я решил учиться на доктора. В те годы в Румынии заполнялись анкеты с позорной графой: национальность родителей. С отцом было просто — он-то румын, а о матери я написал, что она скончалась тогда-то, и точка. Совесть едва не сгрызла меня. Зато я был принят.

Лица его Нора не видела, он стоял спиной к ширме, и лишь седой, вздыбленный, как всегда, хохолок, серебрился над его головой.

— В сорок первом, — помолчав, сказал он, — мы вступили в войну с Советским Союзом. Меня призвали в армию и послали на фронт... Счастье, что я был медик, хотя и не доучившийся. Я ни разу не выстрелил и никого не убил. Только одно и утешает меня в моем непрестанном падении со дня смерти мамы и брата: я никого не убил. Как ни гневался Бог — от этого он упас мою душу. Провидение знало: слишком много грехов разжижают чувство вины. Моим же уделом было казниться бесчестьем, отступничеством. И его искупать...

Тут сестра (сегодня опять дежурила Галя), не заметив их, прошмыгнула мимо, в палату смертников. Они застыли, ожидая, пока она выйдет — Аурелиу крепко сжал Норе пальцы, — но Любовь Михайловна, видно, еще дышала: лицо сестры было буднично озабоченно, и она в полутьме опять-таки не узрела двух злостных нарушителей больничного распорядка.

— Когда я обдумываю теперь свою жизнь, — зашептал Аурелиу, едва Галя вновь водворилась за ширму, — а досуга на это хватает, я не устаю изумляться разуму тайного Божьего промысла. Да вот, посудите сами. Наша часть, пройдя сквозь Молдавию, вышла к Днестру и остановилась в городе Могилев-Подольский. Как-то вечером я, гуляя, набрел на ворота лагеря. Лагерь этот был под эгидой румын, и меня туда пропустили. Я направился прямо в санчасть и весь вечер проговорил с врачом, моим отдаленным знакомым по университету. Он рассказывал разные ужасы, как, например, когда наводили мост через Днестр, в один из быков был заживо замурован еврейский ребенок — мальчик тринадцати лет.

— О Боже, зачем? — воскликнула Нора.

— Предрассудок, средневековье... Чтоб крепче был мост... Ну, и другое рассказывал. Как заключенные у них голодали. Вот вчера, он сказал, умерли в лазарете старик со старухой. Очень славные люди. И добавил, что они пытались через него разыскать в Бухаресте родственника — не пришлет ли он им посылочку сухарей? Доктор сжалился и отправил письмо стариков в Красный Крест. Ничего, однако, не воспоследовало, так что голодный понос их скосил: старик умер первым, еще до рассвета, старуха пережила его на два часа... И вот верите, Нора? На меня снизошло откровение. Будто протер я рыбьей желчью глаза, как библейский Товия, и прозрел! Уже зная ответ, я спросил: как фамилия родственника? Он назвал ее. Это был мой отец. А умершие с голоду старики — родители мамы. Пока я беспечно гулял по городу в офицерских погонах, мои дедушка с бабушкой... — он умолк, тяжело дыша.

Нора не шевелилась.

— Теперь я знал, что мне делать, — начал он снова. — Я больше ни дня не хотел оставаться в армии. Я решил дезертировать. Раздобыть цивильное платье и скрыться. Утром купил его на толкучке, переоделся в уборной и спустил в очко поганую военную форму.

— И куда ж ты пошел, любимый? — хрипло спросила Нора, чувствуя, как ее всю внутри обожгло, опалило единым сло-

вом. И тут же спросила себя: так? И, прикрыв глаза, ответила: так.

Аурелиу вздрогнул. Он поднял к ней лицо и, кажется, даже привстал на цыпочки, чтобы лучше ее разглядеть. Потом на мгновение приложился лбом к ее животу.

— Я пошел по дороге, — глухо ответил он. — Выбрался за заставу и пошел по дороге в поле. Я не знал, куда я иду. Просто шел по дороге, понимая одно: наконец-то я возвращаюсь. К маме, к брату, к себе.

— Тебя схватили?

— А как же. Переночевал разок на свободе, в стогу, под звездами, а наутро меня поймали. И судили военным судом. И дали расстрел. Семь дней я прожил в ожидании смерти...

— Что ты чувствовал? Страх?

— Нет. Поверь мне. Я чувствовал, что свершается высшая справедливость. Смерть настигла клятвопреступника. Я был спокоен. Но меня помиловали: расстрел заменили каторгой. Учли, что я дезертировал в состоянии аффекта. И послали меня в Румынию, добывать для людей соль .

По голосу было слышно, что он уже улыбается.

— Ты никогда не видела соляные шахты? Не представляешь себе соляной купол? Это когда тектоническое давление выжимает, выпучивает пласты в виде огромного свода, который сверкает, искрится кристаллами соли, как усыпанный драгоценностями... Выйти оттуда я не надеялся. Лишь иногда удивлялся превратностям странной моей судьбы, занесшей меня в пещеру из сказок Шехерезады... Но осенью сорок четвертого нас освободила Советская армия. Я мог направить стопы в Бухарест, но я сел на землю за воротами лагеря... и знаешь, о чем я думал?

— О чем?

— О родине. Я понял, что больше ее не люблю. Эту предательницу, эту отступницу. Потому что, хоть я и винил отца, но ведь это не он, когда его вызвали в сигуранцу, отказался от умирающих стариков. Еще прежде него от них отказалась родина. Когда-то у меня были мать, брат, отец, родина. Теперь не было никого, ничего. Я не умел жить без родины, Нора.

Человек может всех потерять. Но не все... И я решил идти на восток, в Советский Союз. Я пошел на звезду...

Нора крепко сжала его руку.

— Да. Я влился в колонну беженцев на дороге. Брели дети, женщины, старики, тарахтели тележки, скрипели немазаные колеса... По ночам мы разжигали костры. Было холодно, иней лежал на траве, я зяб в своей арестантской одежде... На границе нас всех интернировали.

— Ну, ясно, — сказала Нора.

— Нет, нет! Ты только не думай, что я обиделся. А как же иначе? Ведь шла война. Я и сейчас так считаю: нас безусловно надо было проверить. Иные кричали и плакали, а я ходил, утешал, увещал... Я весь, до самого донышка, принадлежал своей новой родине, она стала всем для меня, я был ее сын...

Аурелиу долго молчал. Собирался с духом.

— Нас согнали в лагерь под Кишиневом...

— Погоди, — перебила Нора. — И какой же из двух показался тебе страшнее?

— Видишь ли... Копи — это не только сверкающие кристаллы. Это еще и кирка... И полная безнадежность. Но здесь... Мне было очень плохо. Днем лили дожди, ночью земля подмерзала. У меня не было никакого имущества — ни ложки, ни плошки. Даже баланду не во что было налить. К смерти я приготовился, Нора. Но к этому унижению — получать похлебку в ладони... Нет! Лучше уж умереть. Кое-кто из тех, кого я агитировал, умер, однако, раньше меня. Через неделю я подобрал консервную банку. Она меня и спасла.

Нора свободной рукой погладила ему голову. Потом тихонько пробралась за ворот пижамы и концами пальцев погладила шею. И не убрала руки.

— К голоду, — продолжал Аурелиу, — в общем-то я привык, притерпелся. Он меня не особенно мучил. Но вот уборная... Она там была совершенно не огорожена, просто глубокая яма с перекинутой с краю на край прогибающейся доской. Днем доска была скользкая от натасканной на нее подошвами глины. По ночам она обледеневала. И несколько человек, среди них — женщина, которую... с которой я успел подружиться, упали в яму...

— Ее не спасли? — спросила Нора одним шевелением губ. И осторожно вытянула из-за его ворота пальцы.

— Нет, — сказал он. — Это случилось ночью.

Напротив, над дверью палаты смертников, зажегся красный сигнал. Вызывали сестру. Но та, по-видимому, уснула.

— Боже мой! Надо ее разбудить! — сказала Нора и поспешно сползла с подоконника.

— Сейчас. Ты иди к себе. Иди, уходи, я сам...

— Нет-нет, ни за что! Вместе! — вскричала она.

Но Галя уже промчалась в палату. Кто-то там в темноте говорил:

— Взгляните... Кажется... С Любовью Михайловной что-то случилось...

В палате зажегся свет. Из тьмы коридора дверь показалась Норе жерлом огромной печи. Замелькало, свиваясь и вскидываясь, белое пламя халатов.

— Иди, уходи, — почти толкая ее в спину, бормотал Ауре-лиу. Не надо тебе это видеть!

— Надо, — сказала Нора.

И они стояли, вцепившись друг в друга, пока нянька не притащила с лестницы белую ширму и не отгородила Любовь Михайловну от мира живых.

— Отмучилась, — привычно сказала нянька. Зевнула, перекрестила открытый рот.

КЛАДОВАЯ ПАМЯТИ

Нора, не находя себе места, так и сяк поворачивалась, пристраивая ноющий правый бок, плечо, словно бы перетруженную, наполненную унылой тяжестью руку. Сердце то колотилось неистово, то замирало, глаза наполнялись слезами. О чем она тосковала? О незнакомой ли ей Любови Михайловне, о ее незаметной, будничной смерти в больнице, о странной ли женщине Кате, о новом ли друге своем, с его удивительной, вроде как предначертанной свыше и уже уходящей жизнью, о самой ли себе?..

Она не обманывалась насчет того чувства, какое питает к ней Аурелиу. Он жалеет ее, вот и все. С его стороны этот случай "мышкинский", "Достоевский"... Над нею же странную власть имели слова: сказала сегодня "любимый" — и полюбила. Полюбила юродивого, может быть, — сумасшедшего. "Вам ведь это и нужно", — сказал он. Но она тосковала.

Ночь еле-еле ползла — как в первые дни войны эшелоны, до отказа набитые мирными, перепуганными людьми. Сначала тянулась она густо-синяя, душная. Потом посерела, похолодала, но оставалась такой же томительно медленной.

Нора встала, выглянула в окно. Двери морга были открыты. Туда, по-видимому, недавно внесли новопреставленную Любовь. Солнце уже заливало весь двор. Асфальт был чисто подметен и отсвечивал розовым. Кое-где вдоль трещинок, под скамьей, в углублении у люка, в сточных канавках лежал тополиный пух. Прислоненные к стене морга стояли пустые носилки. В палате все спали. Нора снова легла.

И вспомнилось ей, как во время войны, еще в Омске, зашли они вместе с Ильей к их знакомому, завлиту Омского театра, Савельеву, а тот с порога им объявил, что торопится на вокзал. "Куда это вы собрались?" — поинтересовался Илья. "К дочери, на недельку". (Савельев с женой разошелся; и его семилетняя дочь жила с матерью в Барнауле.) "Мы проводим вас", — предложил Илья. "Спасибо, зачем же вам беспокоиться? Мороз на дворе, да и поздно", — пожал плечами Савельев. "Ну, хоть до трамвая", — выторговал Илья. Как коршун, ринулся он к чемодану, но маленький, верткий Савельев опередил его, и между ними завязалась борьба. Каждый стремился перещеголять другого в великодушии. "Что вы, с какой стати?" — кричал Савельев, хватаясь за ручку. Илья, оттесняя хозяина, возражал: "Но я же гораздо сильнее, позвольте..." — и так они очень долго и глупо топтались у чемодана, пока Илья, изловчившись, не подцепил и не поднял его. "Ого! — тотчас воскликнул он. — Камни, что ли, везете?" — "Крупу", — угрюмо буркнул Савельев и почти вырвал у Ильи чемодан.

Все трое дошли они до остановки трамвая и около получаса, пристукивая от мороза ногами, взад и вперед прогуливались по занесенной снегом платформе. Савельев увлеченно рассказывал о новом спектакле Охлопкова (то был блистательный "Сирано", поставленный в Омске эвакуированным Вахтанговским театром), потом подошел трамвай, Савельев влез на подножку и укатил под истошное дребезжанье звонка...

А они зашагали домой по сухо скрипящему снегу, Илья что-то бодро насвистывал и вдруг деловито сказал: "Надо бы посмотреть "Сирано". Он в этом деле кумекает".

Больше Савельева Нора не видела. Вскоре пронесся слух, что он арестован.

"Как ты думаешь, что там было у него в чемодане?" — спросила Нора Илью, когда они обсуждали этот арест, наделавший в городе много шуму. "Книги, наверно. Рукописи, — ответил Илья. — Чуяла кошка, чье мясо съела! Видать, заметал следы". — "Да в чем же он виноват?" — хотела она спросить, но в то же мгновение вспомнила, как Савельев однажды сказал ей: "Сталин не только страну, а саму идею погубит опричниной". И потому, что мысль Савельева выглядела в ту пору невероятно крамольной, она умолчала о ней, скрыла даже от мужа, и теперь поймала себя на том, что рада этому: Бог уберег!.. Но, вместе с тем, ужаснула ее эта радость. Что же, она считает Илью способным на него донести?

Нора не стала тогда продолжать разговор, инстинктивно отпрянув от края разверзшейся пропасти, а вскоре и вовсе забыла о нем, забыла о маленьком, умном, жилистом человеке, который в тот вечер отчалил от них на трамвайной подножке и безвозвратно исчез.

И еще многое вспомнилось Норе — например, рассказы Ильи про лагерь, как его назначили бригадиром и как вся эта жалкая, по его выражению, "шушера", московская, ленинградская "красная профессура" только и требовала, и вымаливала разных поблажек, ничем не отличаясь от мелких карманных воришек, от "сявок", от "огоньков", вечно ныв-ших: "Бригадирчик, живот схватило", "Пайку слямзили, бригадирчик", "Смотри, бригадирчик, небось, и тебя дожидается мама на воле!"

И рассказывал он, как однажды на командировке Лунь-Вошь разгружали они баржу и как доходяги-доценты, отпихиваясь локтями от "сявок" и друг от друга, кинулись вверх по сходням каждый за своим барахлом, а Илья, который наблюдал за разгрузкой, с наслаждением, ногою под зад, поскидал этих жлобов в реку, штук пять, наверное, поскидал, чтоб знали, помнили, сволочи, в каком живут государстве!

"Ты их утопил?" — спросила она, чувствуя, как мурашки забегали у нее по спине. "Ну вот, утопил! — засмеялся Илья. — Побарахтались в холодной воде да и вылезли". — "Но как ты мог? Ты шутишь, конечно... Ногой... Я не верю!" — "Напрасно! Именно так я и сделал. Пойми, глупышка, это же фраера. За личными шмотками побежали! Каждый свое волок, с-суки такие. Тьфу, мерзость!" — и он передернулся.

Нора во все глаза смотрела на мужа и думала: "Я, возможно, чего-то не понимаю. Там, возможно, свои законы, свои представления о морали... Как я смею судить? Он столько выстрадал, пережил". И заставила себя позабыть. И забыла. Похоронила и это воспоминание. Как все остальное. Говорят: кладовая памяти. Не кладовая, а кладбище. Бескрайнее, безмолвное кладбище. Кресты, кресты...

И еще кое-что в том же роде она о нем вспомнила, но вдруг отчетливо поняла, что это позор ее собственной жизни. Пусть не она это делала! Но — принимала. Прощала. Предавала земле.

Говорят, человек — это стиль. Но была ли она вольна в своем поведении? Люди жили словно в каком-то мороке, в гипнотическом полусне. Прытко, моторно двигались, с энтузиазмом работали, из последних сил напрягались, шумели, гремели — вроде тех детских ярких волчков, запускаемых многократным нажимом на шляпку. И некогда было остановиться, подумать, вспомнить... Растрясти, пробудить от спячки ту крохотную частичку неизвестно чего — сердца ли, мозга, — где прячется совесть. Совесть, которая в прошлом, в детстве мерила и судила каждый поступок. От которой

зависело поведение. Значит — стиль. А значит, и весь человек.

Как им удалось одурманить совесть миллионов?

В палате начали просыпаться. Роза вышла, Томка тихо стонала, Берта потянулась за яблоком. Солнце, пройдя сквозь графин, победно ударилось в стену сверкающей радугой. Нора не двигалась. Она сочиняла рассказ.

ДЕВОЧКА, СОБАКА И УТКА

В комнате было полутемно, наступил предвечерний час, когда все делается пепельным. Соня едва различала буквы. Она лежала ничком на тахте, опираясь на локти и вцепившись руками в волосы. Жана Вольжана уже схватили и приволокли в дом епископа. "Очень рад вас видеть, — сказал Бьенвеню, — но послушайте, что же вы? Ведь я вам отдал и подсвечники!" Жан Вальжан распахнул глаза. "Друг мой, — сказал епископ. — Не забудьте перед уходом захватить ваши подсвечники".

Соня резко перевернулась на спину. Под затылком у нее оказалась раскрытая книга.

— О-о-о, — застонала Соня.

Она до этого дня успела прочесть массу книг. Среди них были и такие, от которых она плакала. Например, "Давид Копперфильд" или "Хижина дяди Тома". Ей было жаль Копперфильда, жаль старого негра, и она сокрушалась над их судьбой. А здесь вроде все устраивалось как нельзя лучше, но горло ее было стянуто спазмой... Почему это так, она понять не могла. Просто знала, что в нее что-то вошло, заполнило душу и осталось там. Что-то такое, от чего почти невозможно отделаться. Разве только выколотить. "Друг мой, — сказал епископ. — Не забудьте ваши подсвечники".

Летом мама увезла Соню в Анапу. Они снимали комнату в белом мазаном домике. В Анапе было много моря и много солнца. Утром было море с медузами, которых во время прибоя в несметном количестве пригоняло к берегу, и, чтобы войти в воду, приходилось проскакивать через бело-розовый.

колышущийся, жгучий студень. После обеда был мертвый час в завешенной мокрыми простынями комнате и сороконожками на стенах. Вот и сейчас пробегала, шурша, по стене коричневая, нежно-скорлупчатая, будто составленная из тесно насаженных бисерин сороконожка.

Мама спала, и Соня, тихонько натянув трусики, вышла во двор. На нее набросилось солнце. Оно было косматое, яростное и тяжелое, как медведь. Солнце вгрызалось в плечи, в лопатки, выедало глаза. Соня медленно двинулась к маленькому строеньицу в углу двора. Она знала, что там ее ожидает ужас, но именно он, этот ужас, ее и притягивал. На тончайшей светящейся нитке висел огромный белый паук с крестом на спине и с шерстяными ногами. Паук пошевеливал ими и каждую минуту готов был сорваться. Прямо ей на голову! Но Соня так пристально и сердито смотрела на паука, что он стал карабкаться вверх. "Ага? — торжествующе сказала она. — Испугался?"

В Анапе у нее был друг — собака Волчок. Это была веселая дворняга с закрученным пушистым хвостом. Соня любила ее. Дома, в Ленинграде, у них был кот, по имени Тимофей, загадочное, коварное существо, преисполненное нахальства и спеси. Он точил когти о сафьяновое кресло отца, и вся спинка его превратилась в висящие, точно лапша, узкие длинные ленты. А еще, когда жарились на керосинке котлеты, Тимофей вскакивал на стол, садился рядом, хищно дрожал ноздрями. Улучив момент, он подцеплял котлеты когтями, швырял на пол и, поочередно подталкивая их лапами, загонял под шкаф, чтобы съесть, когда они остынут. По вечерам он свертывался клубком на тахте. Фосфоресцирующие глаза его казались в темноте дырками в ад.

Волчок был доверчив, изящно резв, простодушен, игрив, жрал, что давали, вилял хвостом. Соня любила, усевшись на поленницу, притянуть собаку к себе, глядеть в ее ясные моргающие глаза и почесывать за ухом. Голова Волчка лежала у нее на коленях. Тогда наступал покой и забывались медузы, сороконожки и пауки.

— Ах ты, пес, — приговаривала она. — Ах ты, мой песик!

Она умоляла маму взять его с собой в Ленинград, мама колебалась, но Соня еще надеялась, что сумеет ее упросить.

Сейчас Волчка во дворе не было. Соня села на поленницу и свистнула. Ей хотелось научиться свистеть в два пальца, как Митька у них во дворе в Ленинграде, но у нее получился шип. Она приноравливалась и так и этак, однако, дивной, переливчатой Митькиной трели не выходило. Вдруг в калитку вполз Волчок. Он именно вполз, на брюхе, с виноватой мордой, хвост в пыли.

— Что с тобой? — спросила Соня. — Тебя побили?

Волчок тявкнул и понуро побрел к ней, мотая опущенным хвостом.

— Ты что-то нашкодил, а, Волчок? — допытывалась Соня, лаская собаку.

Волчок лизнул ей руку.

— Ну, ничего, — сказала Соня. — Ничего, мой хороший. Ах ты, псина.

Калитка скрипнула и во двор вошел сосед с ружьем.

— Где эта сволочь? — спросил он. — Где эта тварь?

— Вы про кого? — отозвалась Соня.

— А-а, ты здесь? Проклятая собака! Повадилась грядки мои разрывать, скотина. Ну, погоди! — и он вскинул ружье.

Соня продолжала чесать Волчка за ухом.

— Вы чего? — спросила она мужчину, который стоял в трех шагах от нее, высокий, толстый, в голубой майке и галифе. Голые руки, державшие ружье, были белые, дряблые, и там, где положено быть мускулам, гадко свисал жир.

— Вы чего, дядя? — уже в тревоге спросила Соня и вскочила.

Волчок заскулил, ползая на брюхе.

— А ну, отойди, девочка. Кыш отсюда, по-быстрому! — сказал мужчина, прицеливаясь.

— Не-ет! — крикнула Соня! — Не-е-ет!

Тогда он широко прошагал к ней, схватил за плечо, крутанул в сторону и в упор выстрелил в лежащего у его ног Волчка.

Волчок задергался, повернулся на спину, сквозь редкую на брюхе шерсть розовела кожа, ноги быстро заперебирали по воздуху, будто собака мчалась в опрокинутом вверх тормашками мире. Ружье, опущенное дулом к земле, еще дымилось. Волчок, наконец, затих и, словно куда-то добежав, спокойно лег на бок. Под головой у него растекалась, пузырясь в песке, кровь. Мужчина небрежно ткнул собаку белесым носком сапога и пошел к калитке. Соня молча смотрела ему вслед.

— Что вы сделали? — тихо сказала она жирной спине с черным паучьим крестом, прячущимся под голубой майкой. — Нет, что вы сделали, дядя?

Мужчина обернулся.

— А что такого? — сказал он. — Делов-то. Шелудивая тварь, ничья, бегает тут, понимаешь, грядки портит.

Все стало черно перед глазами у Сони, жизнь ушла из нее, осталась одна смерть, и с этой смертью в себе она рванулась на гигантски разросшуюся, смутно колеблющуюся перед ней массу. Соня почти не различала ее границ, только что-то зыбкое, студенистое очутилось у нее под руками. Она заколошматила что было силы по вываливающемуся из галифе животу, изворачиваясь с откуда-то взявшейся в ней пантерьей ловкостью, когда ее пытались схватить и наскакивала снова и снова.

— Соня!!! — отчаянно крикнула у нее за спиной мама. — Ты с ума сошла!

— Ой, мама, мама! — затопотала она на месте. — Он убил... убил Волчка!

— И-эх, гнида, — выругался мужчина и пошел со двора.

После убийства Кирова их семью выслали из Ленинграда, и голосистый соловей Митька, говорящие камни на Марсовом Поле, белеющие в зелени статуи Летнего сада, дедушкины фонари и решетки Троицкого моста сменились для Сони деревней Каловкой под Уфой. Подобно всем девочкам ее лет, Соня мечтала о карьере артистки и поэтому носила себя, как драгоценный сосуд, изъяснялась забавно и велеречиво. "Жить в Каловке! — с сарказмом говорила она. — Ну что за насмешка судьбы!"

Но и в Каловке, как ни странно, нашлось, с кем дружить и чем жить. Там был худенький мальчик Аркадий, башкирская

девочка, весело и беспечно распевающая под окном: "Я болею бир-кулезом, бир-кулезом, бир-кулезом!", и росли тюльпаны на холмах, называемых бараньими лбами, там были мшистые, сизые валуны, оставшиеся от Ледникового периода, и речка Уфимка, приток Белой, по которой сплавляли плоты...

Но потом папа добился, чтобы ему разрешили перебраться в Вязьму, на строительство шоссе Москва-Минск, где он мог работать по специальности. А Соне пришлось расстаться с Аркадием, тюльпанами и валунами.

Вязьма поначалу привела ее в ужас — эта провинциальная дыра казалась Соне страшней даже Каловки, в которой хоть можно было себя чувствовать трагически несчастной. И прошло много времени, пока полюбила Соборную горку, пряничные ставенки на деревянных домах и надменную девочку Сабину, свою соседку по парте. Она привыкла к Вязьме, лишь когда удалось хотя бы отчасти заглушить в себе детские шиллеровские мечты. Вся эта никчемная шиллеровщина должна была густо зарасти крапивой и лопухами, и постепенно она зарастала.

Соня по-прежнему много читала и уже знала старинное выражение "разбитое сердце". Сердце у нее было разбито. Она считала отца лучшим из людей, видела, что он оскорблен, что его оскорбили, но ненавидеть бесплотную силу, сотворившую с ним зло, она не могла. Потому что эта бесплотная сила была всюду — как воздух. Нельзя ненавидеть воздух, которым дышишь. На ее разбитом сердце полыхал пионерский галстук, в ушах с утра до вечера играл зарю серебряный горн. Только галстук и горн помогали ей избавляться от мыслей о непонятности мира. А чтобы не разорваться надвое при выборе между отцом и воздухом, которым она дышала, Соня попросту научилась одной хитрой штуке: когда надо, переключать свет. Идешь из комнаты в комнату — гасишь свет в первой и зажигаешь в другой.

Однажды она возвращалась из школы с двумя подружками, было уже поздно — учились они во вторую смену, — и

центральная площадь Вязьмы была еле освещена. Неожиданно перед ними возник прохожий, одетый в рваную брезентовую робу.

— Скажите, девочки, — спросил человек, — как отсюда попасть на вокзал?

Во рту у него блеснул золотой зуб. Это было странно, и вопрос его был странен. Они были рядом с конечной остановкой единственного в городе автобуса, курсирующего между центральной площадью и вокзалом. Местный житель наверняка это знал, а приезжий не мог, минуя автобусное сообщение, оказаться в центре.

— Да вот же кольцо, — ответили ему.

— Благодарю вас, — поклонился оборванец и, отойдя к фонарю, взглянул на ручные часы.

В те годы часы были редкостью.

— Шпион! — объявила Соня. — Факт, девочки, это иностранный шпион!

Когда они подошли к углу, то увидели незнакомца в ярко освещенном автобусе, дожидающемся пассажиров. Девочки долго рассматривали лицо шпиона. Оно было чисто выбритое, изможденное, очень интеллигентное.

Посовещавшись, они решили сообщить о подозрительном человеке куда следует. Здание, где размещалось "куда следует", было самым большим в городе — больше театра, больше школы, больше больницы, больше даже горкома — и находилось недалеко. Подождав, пока тронется автобус, они кинулись со всех ног вверх по улице Ленина. Они задыхались. У Сони першило в горле, было сухо и жарко в груди, страшно стучал мотор ее разбитого сердца.

Начальник, к которому после долгих упрашиваний пропустили самую бойкую из девочек — Соню, спросил:

— А ты сможешь его опознать?

— Смогу, — сказала она.

Тогда, посадив ее и двух конвойных в машину, начальник покатил на вокзал.

— Войди первая и взгляни, там ли он, — приказал Соне начальник.

Она оттянула упругую, с тяжелым противовесом дверь и тотчас увидела своего незнакомца, сидящего на самом виду в полупустом помещении. Что-то сиротливое, беззащитное почудилось Соне в его тщедушной фигурке. И едва она пожалела свою жертву, привычно щелкнул выключатель, свет переместился из комнаты в комнату... "Друг мой, — сказал епископ, — не забудьте ваши подсвечники!"

Соня попятилась. Но в приоткрытых дверях, как судьба, как возмездие, стоял начальник. Отступать было некуда.

— Вот он, — обреченно прошептала она.

Соня трусливо притаилась в темном, заплеванном, пахнущем мочой тамбуре, когда в сопровождении двух конвойных его провели к машине. Ей захотелось умереть, тут же, сию минуту, в этой моче, в плевках, в темноте. Но она услышала голос начальника: "Где же девчонка?" — и вышла наружу.

— Есть на автобус деньги? — заботливо спросил он.

У него было благородное лицо героя из фильма "Граница на замке". И он так благородно вспомнил о ней, хотя был занят государственным делом!.. Ах, какое счастье было сразу, с налету, с разбегу полюбить его благородный железный подбородок, его шарикоподшипниковые желваки! В этой любви было спасенье от боли, от жалости, от стыда, и Соня быстро и радостно переключила свет.

— Ни копеечки! — с лихостью истинной пионерки отвечала она.

— На, возьми, — сунул ей мелочь начальник. — И спасибо тебе.

Отец схватился за голову, когда Соня с гордостью рассказала дома за чаем о своем подвиге.

— Боже мой, Бож-же мой, — бормотал он. — Кого я вырастил?

И закричал не на Соню, а куда-то в пространство:

— Ты мне не дочь!

Соня долго рыдала в постели, под одеялом. И в глазах ее изнурительно, беспрерывно мигал свет.

Они жили в доме для инженерно-технических работников управления, там была коридорная система, общая кухня и

общая большая уборная с цементным, всегда отвратительно мокрым полом. По ней шныряли остромордые, продолговатые крысы.

Мыть коридор, кухню, чистить уборную каждое утро привозили со строительства заключенного Ваню. Это был пухлый, бритый наголо парень, с пухлым, тестообразным лицом и глубоко посаженными, будто вдавленными в тесто глазами-изюминками. Он снимал ватник, шапку, ботинки и работал в исподней рубахе навыпуск и босиком. Страшно было смотреть, как он ступал своими большущими, серыми, точно картофельные оладьи, ногами по мокрому цементному полу. Грязь прохлюпывала у него между пальцами.

Соня придумала ему биографию: так, по ее представлениям, должен был выглядеть сын кулака, деревенского кровососа и обиралы. Но выспрашивать Ваню она стеснялась. Иногда она все же с ним заговаривала, он отвечал подобострастно, улыбчиво, а она не могла оторвать взгляда от его пухлых, разлапистых, грязных ступней.

— Вы не боитесь крыс? — с содроганьем спрашивала она.

— Вона, а чего их бояться... Не-е, крыс не боюсь.

— А чего-нибудь, вообще, боитесь? — добивалась она зачем-то.

— Вообще? — призадумывался Ваня, опершись на мочальную швабру, похожую на скопище змей. — Вообще-то, боюсь, девка.

— Людей?

— Людей не-е.

— А чего же тогда?

— А вообще и боюсь. Вообще, понимаешь?

О, да. Она это понимала. Она тоже боялась в о о б щ е .

Как-то она вернулась домой поздно вечером после собрания. Ей было весело, она отличилась в ученье, ее похвалили. Напевая "Тор-реа-дор, смеле-е-е в бой!", Соня ворвалась в комнату. За столом сидели два незнакомых молодых человека в форме НКВД. Мама была взволнована.

— Кто это? — шепотом спросила у нее Соня.

— Не знаю. Ждут папу, — еле двигая губами, точно они у нее отморожены, ответила мама.

Ну, что ж. В этом не было ничего удивительного. Папа работал главным инженером проектного отдела, а строительство находилось в ведении НКВД. Многие папины сослуживцы щеголяли в форме. И даже имели право на личное оружие. Но папа никогда не ходил в форме и не брал с собой на работу оружия, хотя дорогу строили заключенные и от них можно было ожидать всего. Однажды Соня, уязвленная тем, что ее отец, в отличие от других инженеров, носит штатское, спросила, почему он не берет с собой пистолет.

— А ты не находишь, — сказал папа, — что это низко — быть вооруженным против безоружных людей?

Соня подошла к гостям, поздоровалась, села рядом. У обоих были славные лица: одно — горбоносое, с иссиня-черными бровями, белозубое, смуглое, другое — простецкое, русопятов, с румянцем на круглых щеках. Соня разговорилась с ними и с ходу похвасталась, что, хотя ей только двенадцать лет, но учится она в седьмом классе, отличница и к тому же — неплохо рисует.

С чего ее вдруг понесло, Соня не знала. Но она кокетничала с ними напропалую, встряхивала кудряшками и, как ей казалось, умно и тонко проявляла свою начитанность. А потом еще полезла в портфель и вытащила тетрадку по зоологии, чтобы они посмотрели ее замечательные рисунки.

— Маладец, художницей будешь! — сказал горбоносый, когда она развернула тетрадь, где была нарисована и раскрашена цветными карандашами хохлатая утка. Хохолок вышел очень нарядный, вроде маленькой царской короны, а глаз утки, круглый, красный, как клюква, злобный, буравил прямо насквозь, и гости рассыпались в похвалах.

— Вай, вай, какой глаз палучился, савсем живой! — цокал языком горбоносый.

Мама стояла бледная, с искаженным лицом.

И тут вошел папа. Горбоносый горец и румяный парнишка с окраины в ту же секунду вскочили, оба, как заведенные куклы, наставили на него пистолеты и рявкнули:

— Р-руки вверх!

А отец, ее гордый, храбрый отец, стоя у двери в пальто, старомодном, потертом, с бархатным черным воротничком, поднял руки.

Молодые люди подбежали, грубо обшлепали его тело, обшарили карманы и, убедившись, что оружия при нем нет, спрятали пистолеты в кобуры.

— Собирайтесь, Модест Иванович, вы арестованы, — уже по-доброму, по-домашнему сказал русопятый. — Собирайтесь спокойно, мы подождем.

На стройке все звали отца по имени-отчеству. Его любили. Быть может, любили и эти двое.

Мама, после высылки привыкшая к передрягам, держалась с большим достоинством.

— Модест, — сказала она, — возьми шерстяные носки.

Один из гостей, тот, что посимпатичнее, с теперь уже совершенно малиновыми щеками, сказал ей:

— Не надо, он скоро вернется, это, поди-ка, ошибка…

И папа ушел без носков.

То был первый арест в городе, и никто — ни папа, ни мама, ни эти несчастные, возможно, тоже погибшие насильственной смертью молодые ребята, еще не знали тогда, что начался тридцать седьмой год.

Отца увели, а дочь его, Соня, осталась жить. Но куда делась девочка, умевшая грозить паукам, молотившая кулаками по дряблому, студенистому животу убийцы? Почему в иные минуты вдруг глохнут, утопают в вате голоса добрых книг, прочитанных в детстве? Почему мы так часто переключаем свет? Чтобы легче было существовать? Но ведь жизнь от этого не становится легче. Нет, не становится.

ПОЗДНО

Она лихорадочно, с перерывами лишь для еды, строчила этот рассказ, выхватывая из тумбочки листы газетного срыва, предусмотрительно взятого ею из дома для писания записок Илье.

Женщины удивлялись: "Что это Нора пишет?" Задавали вопросы, подходили, заглядывали — Нора только отмахивалась от них, как от назойливых мух. Писалось легко, она и сама не знала, откуда все это берется, словно бы выливается на бумагу из авторучки вместе с чернильной пастой. Откуда, к примеру, взялся хотя бы Ваня с его расшлепанными, как картофельные оладьи, ступнями? Ни разу прежде она не вспоминала о нем. А вот явился — точно разворошил свою могилку и вылез, и стоял теперь перед ней, как живой.

Чуть-чуть застопорилась лишь сцена с хохлатой уткой. Композиция требовала поставить ее в конец, но эпизод с человеком в брезентовой робе весил гораздо больше, звучал сильнее, и рассказ как будто начал куда-то сползать. Никак не удавалось ей передать свое подлое поведение с теми двумя молодчиками — горбоносым и русопятым, как она перед ними кривлялась, даже заигрывала, как они неумеренно хвалили ее и как при этом страдала ее интеллигентная мама. И самый кончик рассказа, со слов "отца увели...", то казался ей лишним и назидательным, то совершенно необходимым, и она то жирно вычеркивала его, то заново восстанавливала. Отложить же работу на завтра она не хотела, — нет, вот как написалось, так пусть и будет: главное, надо сегодня, сейчас отдать рассказ Аурелиу, ради него одного она и спешила.

Закончив, Нора свернула листки в трубку и спустилась во двор — искать Аурелиу. Его нигде не было. Ей встретилась Катя, которая, как это часто бывает после нечаянных откровенностей между чужими людьми, держалась скованно, сухо и тут же ушла, сказав, что она "не сторож брату своему" и понятия не имеет, где прячется этот чудак.

Нора нашла его в самом конце аллеи. Он сидел на скамье и, скорчившись над блокнотом, тоже что-то писал. Услышав ее шаги, он поднял голову, улыбнулся.

— Куда вы исчезли? Садитесь... А я вас все утро жду, жду. Даже вот начал письмо вам писать. Чтобы вас не мучило, родная моя, то слово... Ну то, которое невзначай у вас вчера вырвалось. Это бывает. Оно было искреннее, я знаю. Но вы не должны...

— Какое слово? — сурово спросила Нора. — Любимый?

Он смущенно кивнул.

— Так я могу его повторить: лю-би-мый, — раздельно произнесла Нора, грозно нахмурившись. — И почему ты опять говоришь мне "вы"? Что за фокусы, Аурелиу?

Он засмеялся.

— Ну, хорошо, — сказал он.

Вырвал листок из блокнота и смял его.

— Я знаю, что ты сейчас подумал, — все так же сердясь, сказала она. — Раз, мол, ее это тешит, пускай. Ты ведь это подумал, да? И ты покорился. А я тебя правда люблю, Аурелиу. Ты для меня самый лучший. И самый главный. Я буду тебе служить. Я для этого создана, понимаешь? Чтобы служить.

Нора очень сердилась и не смотрела на Аурелиу. И он не смотрел на нее. Он потупился и молчал.

— Не бойся меня, — сказала она. — Ты ничего не обязан. И если тебе неприятно, я никогда, ни полслова... Но ты должен знать.

Она на него взглянула и, так как он ковырял носком сандалии землю (откуда он только выкопал их — эти сандалии с дырочками, на ремешке с металлической пряжкой!), добавила мягко:

— Прямо, как маленький: тетя погладила по головке, а ребенок краснеет, томится... Ну что ты томишься?

— Я не томлюсь, — сказал Аурелиу. — Я счастлив. Я слишком счастлив.

— Слишком?! Так не бывает.

— Бывает, — ответил он. — Когда уже поздно. Поздно, девочка, поздно... Поздно, моя родная. Поздно! — его как заклинило на этом слове.

Было время вечернего чая, аллея была пустынна, и Нора, бросив быстрый взгляд назад, за плечо, обняла Аурелиу и поцеловала куда-то в шею. Он тоже обнял ее, и опять, как в тот раз, когда он взял ее под руку, она поразилась его повелительной и вроде не согласуемой с хилым телосложением, какой-то очень надежной силе. Объятие их было неловким,

поспешным, ей стало больно, казалось даже, что расходится шов, однако, она не смела сказать и терпела.

— Поздно, радость моя, — твердил Аурелиу. — Поздно, девочка, поздно...

Вот этого она не имела сил слышать и высвободилась.

— Скажи, Аурелиу... Почему я не вижу, чтобы тебя навещали? Ты что, не женат?

— Был, — кивнул он. — Был, как все люди. Когда меня выпустили из лагеря (они все же установили, что я дезертировал), я пошел босиком в Кишинев. И устроился на работу. И нашел хорошую девушку. И женился. И был у нас сын. Все было, Нора. Не на что жаловаться. Много я видел хорошего. Незаслуженно много. И — хватит! — он улыбнулся.

— Как это хватит? — воскликнула Нора. — А где же твой сын, где жена?

— В Кишиневе.

— Ты бросил их?

— Нет, я не бросил. Так получилось... Ну, Боже мой... Я начал болеть...

— И что?

— Ах, не спрашивай, Нора! Я тоже не сахар. Я стал ужасно придирчив. Я сам это чувствовал.

— И она...

— Нет, нет! Ты не думай... Мы вместе решили. Мы просто решили немного пожить отдельно. И я уехал. Устроился в Александрове, под Москвой. Снял комнату, очень миленькую, с голландской печью, работал в библиотеке... Ну что ты смотришь? Мне там чудесно жилось. Под окном росла яблонька. Я ходил гулять к монастырской стене. Я даже завел черепаху... Ах, Нора, ну что ты так смотришь? Очень забавная черепаха!

У нее в глазах были слезы.

— Аурелиу, — сказала она. — Я написала рассказ.

— Тот самый?

— Да. Ты разберешь мой почерк?

— Конечно. Как я рад за тебя! Видишь, я оказался прав.

Он взял листки, разгладил их на колене, прочел первые строчки.

— Ну, вот. Меня ожидает хороший вечер. Ты уйдешь к себе и все-таки будешь со мной... А ты говоришь...

— Что я говорю?

— Будто я несчастен... Нора! — Аурелиу крепко схватил ее руку. — Посмотри вокруг. Да, да, хотя бы на эти деревья, на эту больницу. Ты скажешь: больница раковая, деревья покрыты пылью. А как они славно шумят, как плавятся окна на солнце... Ведь это же чудо! И то, что мы встретились здесь... Могла ли ты это предвидеть? А рассказ? И сколько таких рассказов в тебе? Еще, может быть, лучших...

— Ты хочешь, чтобы я жила, Аурелиу? — грустно сказала она.

— Ты будешь жить, будешь! — страстно ответил он. — Я хочу, чтобы ты была счастлива. Это возможно. Несмотря ни на что. Только надо этому научиться. И ты научишься. Я тебе помогу. Это возможно, поверь!

ТАМ, ГДЕ ПЛАЧУТ И ПОЮТ

Ей не пришлось назавтра обдумывать, как начать разговор с Еленой Ароновной. Та сама вызвала ее на перевязку и сказала:

— Ну, что. Заживление идет превосходно. У сухощавых всегда так. А с полными — не оберешься хлопот... Смотрите, как я вам все тут красиво сделала, — и она провела ладонью по безобразно отекшему, красному операционному полю, пересеченному длинным, уходящим под мышку поперечным разрезом, с грубыми косыми стежками, в которых запеклась черная кровь. — Прямо-таки косметическая работа, — откровенно гордилась она. Лицо ее, обычно холодное и даже надменно замкнутое, сейчас сияло внутренним жаром. — Послезавтра снимаем швы и начинаем рентген, — добавила она уже деловитым тоном.

— А если я откажусь? — на всякий случай спросила Нора.

Елена Ароновна посмотрела на нее с величайшим презрением, и странная скобка ее улыбки, как на античной маске, перевернулась углами вниз.

— Вы не откажетесь, уважаемая, — сказала она. — Об этом не может быть речи. Наслушались тут разных глупостей... Не ожидала.

— И гипофиз будете облучать?

— И гипофиз. И весь нижний этаж. Это необходимо... Вот что, голубушка. Я с вами не собираюсь играть в кошки-мышки. Я...

— О, пожалуйста! — живо воскликнула Нора. — Прошу вас.

— Ну, слушайте. Накиньте халат, вот так. Вы будете делать все, что я вам назначу. Вы поняли? Все! — она говорила жестко, опущенные уголки ее губ слегка вздрагивали, когда она делала паузу. Только это и выдавало ее волнение. — У вас рак, — продолжала она, глядя на Нору тяжелыми своими глазами. — Опухоль была в третьей стадии. Четвертая, чтоб вы знали, неоперабельна. У вас уже были метастазы в соединительной ткани. Я так и предполагала, а потом увидела воочию, во всей их красе. Неприглядная, доложу вам, картина... Я все очень чистенько вырезала. Но кто знает? Рак — болезнь коварная. Другой бы я этого не рассказывала. Вас я считаю человеком разумным. Канцерофобией вы, как мне кажется, не страдаете, — тут ее скобка перевернулась углами вверх. — Единственное ваше спасение в том, что у вас спокойные железы. Ближайшие я удалила — подмышечную, подключичную. Остальные не увеличены. Пока! — она подняла палец — длинный, костистый, с коротко остриженным ногтем. — Повторяю — пока. Но достаточно одной раковой клетке попасть в лимфу, и болезнь разнесет по всему телу. Нужен массированный удар. Решительный. Без промедления. Рентген, мужские гормоны. Иначе не проживете и года. Вам ясно? Все.

Нора молчала. С минуту они сидели и смотрели друг другу в глаза. Как в игре в "гляделки". Кто кого пересмотрит.

— И пропала моя работа! — вдруг совсем по-женски, с обидой сказала Елена Ароновна.

Нора не выдержала, засмеялась.

Вот так прошел разговор. Но Нора и без того решила уже, что будет лечиться. Чтобы служить Аурелиу, надо, как минимум, быть живой. Что же касается счастья, им обещанного, то Нора в него не верила. И о рассказах, якобы в ней заключенных, пока не думалось. То, что Нора в горячке вчера накатала, было скорее письмом. Или исповедью. Сбросила с души этот груз, и ладно, и хорошо.

Против воли ошеломленная, но с непонятной и неуместной готовностью к смеху, Нора спустилась во двор. И странно, все, кто ей попадались навстречу, были тоже словно бы чем-то возбуждены. Казалось, они возвращались в корпус не с обычной прогулки, а не то из гостей, не то с демонстрации. Но главное — этих встречных, с хмельными жестами, хмельной походкой и речью, было раз-два и обчелся, зато ее обогнало несколько шумных веселых групп, явно куда-то спешащих.

Свернув на аллею, Нора услышала вдалеке, за кустами, гитарные переборы и пение. Здесь? В лепрозории? Кто-то поет и играет?

В самом деле, в кустах замелькали пижамные куртки, синие с красным халаты. И там, в центре плотного круга, хриплый, немного надрывный голос, следуя современной манере пения, проговаривал, временами снижаясь почти до шепота, удивительные слова:

Ах, как долго, долго едем,
Как трудна в горах дорога,
Чуть видны вдали хребты
туманной Сьерры.
А, как тихо, тихо в мире,
Лишь порою из-под мула,
Прошумев, сорвется в бездну
камень серый...

Раздвинув ветки и привстав на цыпочки. Нора увидела Катю. На маленькой, с пятачок, лужайке между кустами она стояла на одном колене, держа на другом гитару. Сгорбившись и низко склонив над ней голову, так что хвостик волос на ее затылке торчал кукурузным султаном, правой рукой резко ударяя по струнам, а левой — то зажимая их, то чуть потряхивая ручку гитары, чтобы сильнее вибрировал звук, Катя пела:

Ну, скорей, скорей, мой мул!
Я вижу, ты совсем заснул,
Ну поспешим, застанем дома
дорогую.
Ты напьешься из ручья,
А я мешок сорву с плеча
И потреплю тебя, и в морду
поцелую...

Не такой уж веселой была эта песня, но лица стоявших вокруг людей показались Норе счастливо разглаженными, будто сжимавшая их повседневная пленка заботы и страха наконец-то сдернута и отброшена прочь, как кожа царевны-лягушки.

Возле Норы стоял высокий старик с перевязанным горлом, между бинтами выглядывал металлический кончик дыхательной трубки, через которую он со свистом втягивал воздух, но бледные губы его улыбались. Томка, как гномик, сидела на корточках, подперев кулаками щеки, отчего они вздулись на скулах, стали круглыми, детскими, да и рот раскрылся совсем по-детски, восьмеркой. Незнакомая женщина плакала; но даже и слезы эти лились легко, без тоски, без натуги.

Катя кончила петь, подняла бедовое, в ярких веснушках лицо и спросила:

— Еще?

— Еще-е! — заорали все.

— Ладно, — сказала она. — Сейчас.

Покусывая губы. Катя примолкла, настраиваясь на новую песню. Что-то шаманское было в ее напряженной позе, во всем ее облике.

Мой дом,
В нем живет добрый дух,
В нем живет добрый дух,
Духов злых отгоняет...

Катя пела песню за песней — одна была про Пьеро ("Что ты смотришь так тупо, ах ты шляпа Пьеро?"), вторая — про фокусника ("А ночь над цирком такая, что ни зги"), третья — про пожарного ("Набат на башне каменно молчал"). Сказочные, далекие от больничного мира песни почему-то касались всех.

"Какой большой ветер напал на наш остров!" — ударила Катя по струнам, и все, и Нора почувствовали: да, напал ветер, и сдул с домов крыши, как с молока пену... А когда она затянула другое: "Верю надежде, даже как будто напрасной, даже напрасной и невозможной мечте", — Норе и каждому здесь померещилось, что все-таки можно еще надеяться...

— Ну, последнюю, — сказала Катя. — На посошок!

И она запела про то, как неким весенним вечером, в некоем отдаленном от человеческого жилья краю, если не принимать во внимание одиноко стоящей, возможно, заброшенной фермы, некто разжег среди прерий костер и, глядя на пламя, мечтая, тщетно пытался вспомнить нечто давно забытое им, о чем ему говорил кипящий в огне котел. Но потом наступила ночь, погасли последние угли, и этот некто бесследно исчез.

Во время пения мимо ограды пронесся, звеня, трамвай. "У-у! — загудели больные, и несколько кулаков, вскинувшись в едином порыве, яростно погрозили в сторону улицы. — Давай сначала!"

"В тиши весенней, в тиши вечерней", — снова запела Катя. А Нора, слушая, думала сразу о многом. И представилась ей картина на синем фоне, нет, густо-лиловом, — потому что ведь вечер, южная темная ночь, — и где-то внизу в уголке, слабенький язычок пламени, нет, даже не язычок, а розовая туманность, светящийся дым костра, и рядом фигура того человека, да нет, не фигура, а тень, тень одинокого, покинутого людьми существа,— быть может, отца ее, так же бесследно исчезнувшего, или же Аурелиу, который на миг возник в ее жизни, чтобы вскоре пропасть, раствориться в ночи... И думала Нора о Кате, любуясь коленопреклоненной позой ее, — не то пажа, с этим забавным хвостиком на затылке, султаном, малярной кистью, напоминающей страусово перо, а не то провансальского трубадура, или, напротив, нашего блатняка — из-за лихой бесшабашности, с какой она дергала и щипала тугие струны, низко свесив над ними голову, демонстрируя полное безразличие к производимому впечатлению. И потом — этот голос, надрывный и хриплый, раздирающий

душу, каким она спела последний куплет: "И мы не знаем, ах, мы не знаем, был или не был он на земле, что в тихом сердце его творилось и что варилось в его котле..."

И Нора, и, как она видела, вся эта толпа страдальцев — кособоких, с отрезанной грудью женщин, мужчин со вставленной в горло дыхательной трубкой, — этих отверженных, прокаженных с гниющими внутренностями, этих т е н е й — не понимали уже, о ком написана песня: о дальнем ли, не известном им человеке, о самом ли близком, родном, или о них самих.

"Был! был!" — хотелось вскричать Норе. Но вместе — и не хотелось ей этого, потому что лучшее в песне заключалось именно в том, что тайна так и осталась тайной. И было не ясно, что же творилось в том тихом сердце. И что варилось в котле.

Катя встала.

— Ох, нога затекла, — сказала она. — Чья гитара? Возьмите.

БАБА НАДЯ ЗАГОВОРИЛА

Однажды Нора, придя в палату, застала в ней бабу Надю одну. Та ела творог, перекатывая его слева направо беззубыми деснами.

Нора села к себе на кровать и, помолчав, спросила:

— Баба Надя, а как вы пушку свою переносите? Тяжело?

— Так мил ты моя, — охотно откликнулась баба Надя. — Конечно. Пушка — она пушка и есть. Блюет с нее — страсти Господни! Через силу творог-то ем. Там, на пушке, Рахель работает, дохтур. Шибко понимающая эта Рахель! Сколько уж лет на одном деле. Перевидала нашей сестры... Терпи, говорит, баба Надя, терпи. Поправишься. Я и терплю.

— А давно вы болеете?

— И-и, мил ты моя! Пятый годок пошел, как болит в грудях. Думала, так себе. А оно — вон чего, рак. И откуда он, черт лупастый, берется? С нерьвов, толкуют... Что ж я тогда в войну не болела, а? Гладкая телка была! Никакой тебе

рак клешней не ухватит. Переживаниев разных отбою, бывалоча, нет, а грудя не болели.

— Баба Надя, рак возникает не сразу. Иногда через десять лет!

— Ну, если так, то конечно. Тебе виднее. Как ты есть образованная. А я даром что малограмотный человек, образованных оченно уважаю. Вот хоть внучка моя, Идочка. На пианине играет! Любо-дорого слушать. Я ей и пианино купила. Гляну в ноты — это что ж, говорю, за крючок? Бемоль, говорит баба Надя, бемоль. Ну, я и запомнила. А второй-то, который решеточкой, позабыла.

— Диез, — подсказала Нора.

— Вишь ты, — удивилась старуха. — Знает. Тоже на пианине учили?

— Учили, — кивнула Нора.

— Моя Идочка шибко способная! Пальчики то-оненькие...

— Что-то не видела ее здесь... Отдыхает, наверное?

— И-и, мил ты моя! Где же ей отдыхать? Не дают. Гоняют детей по колхозам! Как лето, так ездиют. Нонче в Сибирь укатила, на целину.

— А чья она дочь? — спросила Нора. — Сына вашего?

— И-и... Нет у меня никого. Чужая она. Евреечка. Из Мариуполя. Город такой на Азовском море. Слыхала?

— Слыхала.

— Ну вот. Сестра у меня там живет. На заводе работает, этим, булгахтером. А завод "Азовсталь" называется. Большущий. Приехала я к сестре погостить, перед самой, как есть, войной. А дом у них от завода, на восемь семей, двухэтажный. Сестра моя в первом живет, хорошо, палисадничек под окном. А Идочка с мамой и папой — как раз наверху, над нами. Годик всего ей было. А черненькая, а красивенькая — просто картинка!

— Сколько же ей сейчас, баба Надя?

— Кому, Идочке-то? Да уж двадцать четвертый пошел.

— А говорите — детей.

— Что детей?

— Да детей гоняют.

— А кто ж она, как не дите? Ты б на нее посмотрела. Сама нежная, пальчики тоненькие...

— Ладно, — пряча улыбку, сказала Нора. — Это я так. Извините.

— Ну вот. И пришли в Мариуполь немцы. Папа ейный, Абрамом звали, утек ночью на хутора. Добрые люди приютили его, перепрятывали, пока русские не вернулись, а там он пошел в армию, и убили его, на чужой уже где-то земле, не то в Польше, не то... Врать не стану, запамятовала. Маму, хохлушка была, кака-та паскуда выдала, что, мол, муж у нее еврей, немцы забрали и, кто их знает, может, убили, а может, угнали в Ерманию. Тоже сгинула, бедная, упокой. Господи, ее душу, — баба Надя перекрестилась. — А Идочку мы с сестрой подобрали, сиротку, и стала она у нас жить.

— Не боялись соседей?

— Как не боялись, мил ты моя. Конечно, боялись. Люди всякие есть. Да куда ж ее денешь? И то сказать — не дите, а звоночек!.. Уж такая складненькая, ножками топ-топ! Да ласковая — обоймет за шею и ну целовать! Малявочка ведь, а знает, что любим ее. Как есть, ангелочек... А потом к нам поставили фрица. Звали фрица этого — Курт. Спервоначалу-то мы обомлели. Мил ты моя, что ж с Идочкой будет? Сразу видать, не русское же дите. И глазки, и кудри — все, как у ихней нации, как положено. А мы тому Курту в одну душу: племянница, мол, ферштеешь? А он: ферштею, ферштею... Про него-то как раз и не скажешь, что немец. Кругломордень-кий, Ванька и Ванька. Шофер, начальника развозил.

— Что же он, поверил, выходит, про Идочку?

— Ты слушай. Смотрим, а он однажды мешок волокет — с картошкой. Вдругорядь — муки килограммов пяток. Подкармливал малость. Ну, правда, сестра варила ему. А к Идочке нашей: пупхен да пупхен, на колено посадит ее, в лошадки гуляет. Ничего такой фриц, вроде не больно занозистый, а все равно страшно.

— Еще бы. Я вас понимаю.

— Ты слушай. Таперича я про главное расскажу. Прибегает соседка, орет благим матом: облава! Прятайте Идочку — расстреляют!.. А фриц как утром ушел, так и нету. Святый Боже, святый крепкий! Забегали мы с сестрой, заметалися. Схватила она дите, выскочила на улицу, а там уже цепью немцы идут. Скорее назад. Давай, орет, ее в ларь заховаем! С дырками ларь-то, продухты держать. Засунули мы туда Идочку, уговариваем: нишкни, умница, ради Господа Бога Христа — нишкни! А дите — семи пядей во лбу, как и все в ихней нации, не плачет, молчит. Закрыли мы крышку, покидали поверх барахла — фуфайки да что, и сидим. Вдруг фриц наш вбегает, Курт то есть. Запыхался, буркалы выкачены — где пупхен?.. Нету пупхена, нету, приехала, говорим, ее мамка и увезла. Где пупхен? — рычит. Туда-сюда зыркнул, кинулся прямо к ларю, сошвырнул барахлишко, хвать нашу Идочку на руки да и в дверь. Черт, орем мы с сестрой, дьявол хвостатый! Не слушает фриц, хлопнул сапожищем и пошел вперевалочку прямо на цепь... Иисусе Христе, матерь Божия, в тот момент, видать, во мне рак-то и зародился. Вот когда, думаю, сказалася фрицева кровь! Испугался наш Курт, что узнает начальство про Идочку, так лучше он сам отдаст им в руки жиденка... Ан, смотрим, фриц-то, вроде гуляючи, прошел скрозь ихнюю цепь с дитем, да и был таков! Вона, какие дела... А кончилась та облава, вернулся домой. Битте, мол, вашу пупхен. Смеется...

— Так и осталась Идочка с вами?

— Куда ж ее денешь? Поехала я обратно в Москву и взяла ребенка с собой. Сестре неколи с нею вожжаться, а у меня, на окраине я живу, какой-никакой огородик. Прокормимся, думаю. И верно, мил ты моя. Всяко бывало, конечно. А все ж таки выучила дите. Пианино даже купила, знай наших!

— Жалеет хоть Идочка вас, баба Надя?

— Кого ж ей еще жалеть? По дому-то я сама управляюсь, а так — ласковая она у меня. И часто-часто мы с ней фрица того поминаем... Курта то есть. Где он сейчас, жив ли? Не сложил ли головушку на войне?

СЛУШАЙСЯ МУЖА!

В тот день, когда Нору начали облучать, к ней приехал Илья с тетей Домной. Да как взялись они оба вытаскивать из кошелки банки и свертки с разной едой — тут и домашний творог, и компот, и котлеты рыбные и куриные, и слава и гордость фирмы — слоеный пирог с сыром, — Нора только руками всплеснула.

— Дорогие мои, вы с ума сошли, здесь же на роту солдат!

— Кушайте, кушайте, — сказала ей тетя Домна. — Вам надо. Зовсим стали на себе не похожи. Один нос торчить, а сами зеленые, як той шпинат!

— Э-э, поделишься, — равнодушно бросил Илья.

Он всегда был готов делиться с людьми, ничего не жалел — ни книг, ни еды, ни одежды. И столь же просто брал у других.

— Это-то ясно, — ответила Нора. — И все равно много.

Но тетя Домна была недовольна.

— Сами скушаете, — проворчала она.

Илья поднялся.

— Пойду поговорю с Еленой Ароновной: как, что, какие прогнозы...

— Не ходи, я все знаю. Она была со мной вполне откровенна.

— Да? Ну, все-таки... Я схожу.

Оставив их на скамейке, он пересек двор. Нора смотрела ему вслед. Илья был высок, строен, широкоплеч — фигура танцора. Но как обычно при сильном волнении, он шел, чуть-чуть спотыкаясь и оттого как будто слегка подпрыгивая — после двух мелких на третьем, уже широком шагу. Эта неровная и прерывистая, как азбука Морзе, походка почему-то казалась ей трогательной. Она вспомнила свои мысли о нем в ту бессонную ночь и стало ей стыдно и больно. "Какой ни на есть, а все же родной человек, — подумала Нора. — Столько прожито вместе, и дети, и все..."

— Нора, — сказала вдруг тетя Домна, — знаете що? Я вас никогда не покину! Не платите мени больше грошей. Буду за мать у вас жить, — подбородок ее задрожал.

— Тетя Домна! — Нора схватила и крепко стиснула ее руку, такую знакомую, с кривоватым мизинцем. — Век вам этого не забуду!

— А на що мени гроши? — повторила она давно облюбованную и, видимо, сладкую ей мысль. — Вы мени — ридна доцю, а Тата с Антоном — як те унуки.

— Спасибо, спасибо, родная.

А тетя Домна, смущаясь, закручивала и раскручивала баску своей нарядной, в красный горошек, кофточки — она вообще была страшной франтихой. Когда же случалось ей выйти на люди, одевалась с особенным тщанием.

— Перекажить тут усим, будь ласка, що я у вас не служу, а родня... Добре? — краснея, как девушка, попросила она.

— Добре, — с улыбкой ответила Нора.

Засмеялась и тетя Домна. Не много ей было нужно для полного счастья: чтоб только никто не кричал, не хмурился, да чтоб не пугали ее, и еще — чтоб люди как-нибудь не проведали, что она — прислуга. Труда она не боялась, даже любила: стирать ли, готовить ли, гладить — все было ей в радость. Лишь подневольное ее положение казалось ей унизительным. А впрочем, любое чувство бывало у нее мимолетным. И слезы, и смех — почти в одну и ту же минуту, как летний грибной дождь!

Они сидели на скамейке под тополем, наискосок от морга, в воздухе густо летел пух. Это напоминало метель. По асфальту, сбиваясь в комья, бежала поземка.

— А славно у нас тут, — сказала внезапно Нора.

По двору прогуливались больные и гости, и тетя Домна с любопытством оглядывалась вокруг. Все это было для нее развлечением, все интересовало: во что кто одет, кто кому кем приходится, у кого что болит. То и дело она задавала вопросы:

— О-ой, матынька ридна! Хто ж це така чудная? — и указывала на толстую Лиду. А едва получив ответ, живо спрашивала про кого-то другого:

— А оце? А оце?

Когда мимо них прошествовала под ручку с Борисом Берта, тетя Домна, деликатно прикрыв рукой рот, засмеялась:

— А оце що за фря? Понавешала цацкив, як тая елка!

Берта ради любовника вырядилась в японский халат, но всем на потеху шлепала по асфальту огромными, точно лыжи, больничными тапками. В ушах у нее сверкали брильянты, на запястье позванивала чуть ли не дюжина серебряных браслетных колец. Она заливисто хохотала. Лощеный Борис снисходительно улыбался. Крашеные, гладкие волосы были зализаны откуда-то сбоку на лысину, но одна длинная прядь некрасиво свисала назад, на ворот нейлоновой яркой рубашки.

— Це ии чоловик, чи що? — сияя своими ребячески-лучезарными голубыми глазами, допытывалась тетя Домна. А узнав, что любовник, пришла в ужас: — Та як же ж вона не боится? Що люды скажуть? Ма-атынька ридна!

Нора, поглядывая на нее, от души веселилась.

Но тут они обе заметили Томку, которая, держа руки сзади, на больной пояснице, и, подняв зареванное лицо к высокому парню, что-то быстро, взволнованно ему говорила. Нора, хотя и не знала его, поняла, что это и есть ее муж, страстно любимый и любящий. Лицо у парня было плакатно-красивое, лицо того самого, всегда счастливого белозубого юноши, который столь часто, со всех стен, призывает советских граждан держать свои деньги в сберкассе или вступать в ДОСААФ. Не потому ли так странно было увидеть это лицо, испокон веку знакомое, даже приевшееся дурковатой своей беззаботностью, не только не улыбающимся, но мучительно перекошенным? Время от времени он поглаживал Томку по голове, проводил здоровенной, как грабли, ладонью по выпуклому, точно у молодого бычка, и, видимо, влажному лбу своей ненаглядной. А обтерев ладонь о штаны, он поднимал руку снова и, словно в беспамятстве, гладил ей волосы, мокрые щеки, обводил своим грубым пальцем ее детский припухший рот.

Наконец вернулся Илья. Он был взбудоражен. До него, быть может, только теперь дошло, насколько опасна ее болезнь. Зная его характер, Нора не сомневалась, что завтра, на худой конец — послезавтра, он придет в себя, успокоится, измыслит какое-нибудь фантастическое (непредсказуемое в силу его фантастичности) утешение и постарается перегнать свое горе (такое сейчас неподдельное, искреннее!) в жгучую неприязнь, даже ненависть, либо к ней, как источнику этого горя, либо к Елене Ароновне, нанесшей ему удар.

Но это — потом. А пока — он расстроен, он сокрушен, по--он к Норе участия и, приговаривая ласковые слова, целует ей руки. Но, как всегда в такие минуты, в его черепной коробке крутятся жернова: в каком бы он ни был отчаянном положении, Илья не падает духом, а ищет выход. Недаром ему так нравится притча о двух лягушках, попавших в кувшин с молоком. Уж он-то не сложит лапки, а будет барахтаться и барахтаться, пока не собьет ком масла.

И вот Илья уже вскакивает.

— Помчался на рынок. Который час? Пять? Прекрасно, еще успею.

— Илюша, зачем?

— Надо купить печенку.

— Не надо... Сколько всего натащили!

— Нет! Всю эту дрянь можешь спокойно спустить в унитаз. Я знаю, что тебе нужно: печенку! Или так: пошлем тетю Домну. Вот ключ, сначала на рынок, затем домой, зажарьте, только слегка, с кровью, и сразу назад. На такси! Чтобы уже сегодня, за ужином…

— Илюша, Илюша! Ну что ты порешь горячку? Да и поздно, какая сейчас печенка?

— Молчи! Слушайся мужа! Тетя Домна, вы еще здесь? Ах, да! Нате вам пять рублей. Нате десять! Нате пятнадцать!

— Илюша, вы опоздаете на последний автобус... Что подумают дети? Тата забеспокоится... В другой раз!

— Нет!!! Тетя Домна, пошли. Я придумал. Отправлю ее на дачу, а сам вернусь, принесу.

— Не надо, Илюша.

— Надо. Ты жди. Я приеду.

Илья с тетей Домной спешат к воротам, он идет своей странной походкой, подпрыгивает, спотыкается. Вдруг, от самых уже ворот, несется обратно.

— Норушка! Друг мой! Бедный ты мой маловер! Я тебя вылечу! Я тебя вытащу! Главное, слушайся мужа! — он прижимает ее к себе, затем крепко хлопает по плечу и бегом бежит к проходной.

ЛОЖЬ И ЛУЧИ

С тех пор ежедневно, точно в назначенный час, Нора спускалась на первый этаж и вставала в очередь в рентгеновский кабинет. Весь длинный ряд скрепленных одной общей планкой стульев обычно был уже занят больными. Но иногда старичок, которого облучали как раз перед ней и который являлся задолго до сеанса, занимал Норе место. И тогда она какое-то время сидела с ним рядом, пока Рахиль Герцевна не выглядывала из двери и не выкликала его по списку: "Бриль, Сергей Филимоныч, пожалуйте бриться!" И он, оставив газету на стуле, шел в кабинет.

Этот старик всегда приходил с газетой. Забавно было смотреть, как он читает "Известия", свирепо выставив нижнюю челюсть и словно что-то жуя. Будто он честно пытается проглотить неудобоваримое и не может. Изредка он, пришептывая, произносил что-нибудь вроде: "н-да, интересно!" И ей казалось, что он сам себя убеждает, как маленького, которому впихивают силком рыбий жир или манную кашу: за маму, за папу, за бабу, а он давится.

Как-то в такую минуту Нора скосила глаза, желая узнать, что именно он читает. Оказалось — заметка "Охота за ведьмами". Нора ее пробежала. "Американский художник, — писалось в ней, — рисует не то, что диктует ему жизнь, а то, что котируется на рынке".

Заметив любопытный взгляд Норы, старик вперил в нее свои тусклые, с белым уже ободком вокруг радужной оболочки глаза и молча взял со стула другой номер газеты.

Там была напечатана речь Хрущева. И, как нарочно, Нора наткнулась на следующие слова: "Беда состоит в том, что отдельные художники рассуждают примерно так: кто не понимает наших произведений, тот, значит, не дорос до этого вида искусства". Но тут старик аккуратно сложил газету, подложил ее под себя и прошамкал:

— Кем будешь, дочка?

— Да вот из этих, из самых, — смутилась Нора. — Из бумагомарателей.

— Ну-ну, — пожевал он беззубым ртом. — А я ткач. Не мущинская это шпициальность. А — люблю. Шамое, дочка, милое дело. Физицкий труд, он чи-иштый!

— Оставьте мне вашу газету, если прочли, — попросила Нора.

— Оштавлю. Прочти. Интерешно.

— Бриль Сергей Филимоныч, пожалуйте бриться! — вызвала Рахиль Герцевна.

Старик вскочил, бойко вытянул руки по швам и дурашливо затянул:

— Шолдатушки, ребятушки, ошиблись вы, да в ком, мержавца называли вы да шталинский нарком!..

— Шустрый старик, — заговорили в очереди, когда он скрылся за дверью. — Балагур! А кишка, между прочим, на пузо выведена. Уж хуже этого рака, наверно, не сыщешь.

...Странное чувство испытывала Нора, входя в рентгеновский кабинет. Во-первых, сама Рахиль Герцевна была по характеру прямой противоположностью Елены Ароновны — пожилая, уродливая, но какая-то легкая, светлая женщина. Слово "рак" отсутствовало в ее лексиконе. Ни у кого из ее пациентов рака не было и в помине. Прямо глядя в лицо больному живыми черными глазами, она весело и привычно врала:

— Да что вы придумываете? Опухоль у вас доброкачественная, вот же передо мной история вашей болезни. Я и сама, клянусь, не отказалась бы от такой опухоли! Несколько сеансов рентгена, и от нее следа не останется. Уверяю вас, это не опухоль, а симпомпончик! — и она целовала свои сведенные в щепоть подагрические детские пальчики.

Уморительная эта лгунья была Норе даже мила. Душа ее с ней отдыхала. Приятно было войти в узкий, чистенький кабинет, отделенный от аппаратного помещения толстой, в два кирпича и со свинцовой прокладкой стеной, с глядящим в единственное окошко кустом бузины. Приятно было смотреть на маленькую, похожую на старую обезьянку врачиху и слушать ее легковесную болтовню.

— Такая же история, как у вас, — говорила она Норе, — была восемь лет назад у известной артистки, — она назвала фамилию, ну и что? Играет в кино по сей день, шикарна, обворожительна, и думать, конечно, забыла о своих неприятностях.

Нора не то чтобы верила ей, но беспардонное это вранье доставляло ей примерно такое же удовольствие, как ловко проделанный фокус или акробатический трюк.

А после того как Рахиль Герцевна проставит в ее карточке цифру рентгенов, которые она ей сегодня вкатит, они вместе входили в таинственно затемненную аппаратную, Нора снимала халат, вытягивалась на застеленном простыней топчане, "безобразная герцогиня" обкладывала ее тело пластинами, оставив лишь предназначенное для облучения оконце, опускала трубу на точно отмеренное с помощью винтов расстояние и исчезала, плотно задвинув за собою свинцовые двери. Затем, уже из уютного своего кабинетика, включала дьявольский аппарат, и Нора одна-одинешенька лежала под нудно зудящей трубой, дыша странно сухим и словно бы сплошь пробитым убийственными лучами, неживым, умерщвленным воздухом.

Однако же, сеанс всякий раз неожиданно быстро кончался, слышалось скрежетанье раздвигаемых на рельсах дверей, в аппаратную со словами: "Ну, отбомбились!" вскакивала "безобразная герцогиня" и, пока Нора надевала халат, она засыпала ее вопросами: "В каком классе дочка?", "А сколько вы платите домработнице?", "Муж вас, конечно же, обожает?" и прочее, в том же духе. Главное в ее психотерапевтическом методе было не дать человеку опомниться, задурить ему голову бытом.

— Так называемая "житейская проза"— великий лекарь, — однажды сказала она. — А вы, я подозреваю, склонны, ма шер, к излишнему философствованию. Никакого трагизьму! — подняла она крохотный подагрический пальчик. — Да если бы я поддавалась печальным мыслям, я бы давно отсюда сбежала. А между прочим, у меня был профессиональный рак кожи. Лет десять назад.

— И что?

— Ничего! Видите эти куриные лапки? — она протянула руки. Все чисто, все изумительно. А почему? Потому что я ненавижу трагизьм.

И она пошла к двери и крикнула:

— Кто следующий? А-а, Мытникова? Пожалуйте мыться!

ГРОМ, ГРЕМЯЩИЙ ПО ГРОМАМ

С Верой Георгиевной приключилось несчастье. Ее уже собирались выписывать, как вдруг она пожелтела лицом и глаза ее превратились в две злобные капельки желчи. "Боткина..." — едва взглянув на нее, сердито сказала Елена Ароновна. И тотчас по всему этажу пополз слух, что Верушку заразили во время переливания крови.

Вообще взаимное раздражение охватило врачей и больных. Только и слышалось: "коновалы проклятые!", "ироды!" И даже: "Правильно Сталин хотел их в телячьи вагоны, да и в Сибирь!" Галя носилась из палаты в палату зареванная, взбешенная и, как рыночная торговка, ругалась с больными, которые не соглашались делать укол.

— Шприцы не кипятят, паразиты, и заносят инфекцию!

— Что вы мелете своим языком? Что зря мелете-то? — собачилась Галя. — Как же это не кипятим? Идите, проверьте. Целый день автоклав на плитке стоит!.. Давайте ягодицу!

— Не дам! — рыдала больная. — Хватит рака с меня! Еще сифилис, пожалуй, внесете!

— Какой сифилис? Какой сифилис? — визгливо орала Галя.— Где у нас сифилис тут? Вот счас пожалуюсь Елене Ароновне!

— Жалуйся! Мы сами пожалуемся! В министерство напишем! Жид на жиде сидит и жидом погоняет!

— Это я-то жид? — задохнулась Галя. — Вот я покажу тебе "жид"! Сама жидовка! Заткнись, а то хуже будет!

Дверь в палату, где разразился этот скандал, была отворена настежь, и Нора слышала каждое слово. Ее трясло. Она то делала шаг к палате, чтобы войти туда и что-то сказать (что сказать?!), то затыкала уши. И вдруг увидела Аурелиу. Он шел насколько мог быстро, почти бежал, к звенящей голосами палате. Его появление в дверях лишь на какую-то долю секунды прервало истошные вопли, но тотчас пожар разгорелся еще сильнее. Ведь он и был рассчитан на слушателей.

Аурелиу заговорил, но слова его не долетали до Норы. Да, собственно, и ничьих уже связных фраз в общем гаме нельзя было разобрать. Она слышала только: "Все перемрем! издохнем! угробят! в могилу сведут! сифилис! к черту!" Но постепенно все эти выкрики перешли в рыданья и всхлипыванья, и тогда зазвучала тихая речь Аурелиу:

— ...или вы говорите: евреи. Тех врачей давно реабилитировали, они пострадали невинно. А наши... Сколько они кладут сил! Рахиль Герцевна, например. Ну, положа руку на сердце, кто про нее хоть словечко скажет дурное? А она еврейка... Ну, кто?

— Да нет! — загалдели больные. — Рахиль-то славная баба.

— Видите? Это вы просто расстроились, я понимаю, — и он вышел.

— Аурелиу! — окликнула его Нора.

Они давно не встречались. С того вечера, как Илья приезжал с тетей Домной, а потом, еле-еле успев до отбоя, примчался обратно с печенкой, которую только он, с его настырным характером, и мог раздобыть в Москве перед самым закрытием рынка и магазинов, — с того вечера она начала Аурелиу избегать. Особенно остро помнился ей один случай, когда Аурелиу, завидев ее еще издали, бросил играть в шахматы и, извинившись перед партнером, который кричал ему вслед: "Куда ж вы? Разве так поступают?", торопливо направился к ней. А Нора, сделав вид, что его не заметила, повернула назад, унося в душе щемящую жалость к этой нелепой субтильной фигурке, так разлетевшейся ей навстречу и вдруг растерянно замершей посредине аллеи.

И вот она его позвала.

Он взглянул на нее, поздоровался и пошел прочь.

— Аурелиу! — снова крикнула Нора.

Он оглянулся.

— Зачем? — сказал он. — Вы правильно рассудили... Не будем мучить друг друга.

— Вот как? У вас, оказывается, есть самолюбие? — спросила, прищурившись, Нора. — Не знала, не знала...

Аурелиу стоял потупившись.

— Ты ведь не на меня, — наконец, сказал он, — ты на себя, к сожалению, сердишься. И напрасно. Тебе труднее, чем мне. Я свободен, ты связана. Тебе гораздо труднее. Думаешь, я не знаю?

Нора молчала.

— Пойдем погуляем, — сказал он. — Пойдем, моя детка. Я похвалю твой рассказ. Ты чуточку успокоишься... А?

А она вдруг надулась.

— Мне похвалы не нужны! Что я — ребенок?

— Как не нужны? Нужны. Похвалы нужны всем. Мне понравился твой рассказ. И главное, я узнавал в нем тебя. Не девочку Соню, а автора. Я читал и видел тебя. Твое детство.

Они шли вдоль ограды, над ними шумели деревья, впервые за все эти жаркие, ясные дни стали сгущаться тучи, резко задул ветер. Пух летел с тополей, смерчами взметаясь вверх.

— Расскажи мне о детстве, хочешь? — вдруг попросил Аурелиу.

— Прямо сейчас?

—Да.

Они дошли до конца аллеи, пора было им поворачивать, но не хотелось идти спиной к ветру, и они стояли, почти упершись в ограду, вернее — в кусты отцветшей сирени, белесые и мохнатые от уличной пыли. Листья смачно шлепали друг о друга, трещали трещоткой. За оградой, как в тот раз, когда

пела Катя, оголтело звеня, пронесся травмай, и на фоне лиловой тучи из-под его дуги ярко вспыхнула белая искра.

— Если рассказывать связно, выйдет целый роман, прямотаки рокамболь, — полетела Нора, — потому что отец у меня француз, приехал в Россию мальчишкой, еще до той, до первой войны, а дед, по профессии архитектор, служил в акционерном обществе "Батиньоль", даже был его пайщиком и проектировал фонари и решетки для Троицкого моста, который это самое общество строило в Петербурге. Буквально все антресоли были у нас забиты рулонами ватманов, я любила рассматривать их и старалась вникнуть, понять, почему мой дед отвергал один вариант за другим и выбрал последний... Тебе интересно?

— Очень, — сказал Аурелиу.

— А мама моя родилась в Дриссе, есть такое местечко под Полоцком, но хоть и еврейка, без права жительства, она совсем юной девушкой, пятнадцатилетней, приехала в Петербург с одним саквояжем, в сшитом из старого пледа пальтишке с буфами. И по протекции дальних, богатых и просвещенных родственников поступила на курсы профессора Лесгафта. Это была большая удача, и все же, когда она, суфражистка, поклонница Горького, с передовыми, даже революционными взглядами барышня, да к тому же еще атеистка, познакомилась на даче в Финляндии с моим папой, его родители, ревностные католики и буржуа, пришли в неописуемый ужас... Ты слушаешь, Аурелиу?

— Зачем спрашивать, — сказал он. — Говори, говори.

Они пошли по аллее назад, ветер толкал их в спины. По земле, обгоняя их, мчался слипшийся в комья и словно в обрывки каната пух тополей, вперемешку с окурками и сорванными с деревьев одинокими листьями, — и все это, зацепившись за урну или за ножку скамьи, временами сбивалось в огромный, сердито курящийся ворох.

Аурелиу и Нора почти бежали к воротам, и первые капли дождя там и сям, словно гвоздики для обивки, по самую шляпку втыкались в сиденья скамеек.

— Но я по порядку не буду, а то и до завтра не кончу, — сказала Нора. — У тебя так бывало, что ты не терпел каких-нибудь слов? Мне нравилось "ладно" и резало слух "хорошо", и я умоляла папу: "Нет, нет, скажи — ладно!", и он обязательно извинялся: "Прости, я забыл". Но это, может быть, мелочь... А мама однажды в Новгороде тащила с вокзала тяжелый рюкзак с продуктами, и один человек, наш знакомый, известный толстовец, Молочников, ей предложил: "Давайте я понесу", но мама ответила: "Каждый должен сам тащить свой рюкзак", — вроде в шутку сказала, со смехом, но это, поверь мне, не было для нее пустой фразой... Видишь, я перескакиваю. Но после все как-нибудь свяжется — нет?

Они стояли у проходной. На них в окошечко удивленно взирал сторож. Аурелиу ему улыбнулся и, придерживая на груди отвороты пижамной куртки, опять повел Нору буйно шумящей, темной аллеей.

— Странно, — сказала она, — никого никогда мое детство не занимало... А самая важная жизнь была у меня тогда. Возможно, так и у всех?.. Но с первой минутки, едва разлепишь глаза, и до самой последней — уже не минутки даже, какой-то секундочки, пока окунешься в сон, — живешь, живешь в полном смысле, жадно живешь, с наслаждением... И честно. Вот что главное-то. Бывало, если когда и соврешь, то все равно честно, не знаю, как объяснить... А сны? Мне и снилось в те времена непременно что-то значительное... Будто вхожу я, к примеру, в наше парадное, и некто светлый, светящийся, в длинной тунике (догадываюсь, что это ангел) стоит вверху на площадке и вроде меня зовет. Бегу, но ангел взбирается выше и выше и ласково и настойчиво манит меня за собой. Я спешу, карабкаюсь через ступеньки, но нет конца этой лестнице, ее поворотам, хотя в нашем доме, я помню это, всего лишь пять этажей. Наконец, понимаю, что мы уже где-то над крышей, в небе, и это прекрасно, прекрасна сама его необъятность и то, что так труден, почти непреодолим для меня этот ангельский путь. Но в том-то и дело, что только почти... Ты что-нибудь понял?

— Все, — сказал он.

— И была у нас няня Анисья, с отсохшей левой рукой — когда-то, еще девчонкой, она серпом перерезала себе сухожилие, — няня верила в Бога, и как-то во мне смешалось православие и католичество, вернее, его атрибуты, которые, благодаря моим дедушке с бабушкой, меня окружали с детства: распятия, мадонны, большая, с роскошными иллюстрациями Доре, адаптированная французская библия... По вечерам я Анисью учила грамоте, а днем мы с ней иногда заходили в церковь, Пантелеймоновскую или Спасскую, и я молилась — сама не знаю, кому и чему, но верю, что это меня очищало от всяческой скверны, от суетности, которую я в себе презирала. И все это удивительным образом уживалось во мне с упоением от яростных драк во дворе, с Жюль Верном и Купером, с Луизой Олькотт, даже с культом Наполеона и черт его знает с чем... А папа любил играть на рояле, и я по первым тактам угадывала Шопена, а за неделю до Рождества мы всей семьей садились вокруг стола, под огромным, с бисерными висюльками абажуром, и вырезали и склеивали из фольги и картона игрушки, было тепло, уютно, пахло клеем, дружно щелкали ножницы, и папа мне что-нибудь объяснял — например, устройство вселенной или машину времени... А летом он иногда вырывался на дачу, и мы катались в лодке по сонному озеру, папа давал мне грести, потом учил меня плавать саженками, и однажды, когда мы сидели с ним у костра — он умел разжигать его одной спичкой,— папа сказал мне, что очень несчастен, потому что на днях накричал на какого-то подчиненного, а того наутро арестовали, и теперь уже он никогда-никогда не загладит своей вины... — Тут она вдруг расплакалась, уткнувшись Аурелиу в грудь.

— И... И... — хотела она продолжать, но слезы ворсистым комом стояли в горле. ("Ну-ну, — говорил Аурелиу".) — И еще, — сглотнув, наконец, этот ком, сказала она, — когда я заболела, — это был дифтерит, — папа меня не отдал в больницу, и мама каждое утро мыла комнату сулемой, а он приходил с работы и рассказывал мне с продолжением разные сказки и притчи — он их сам и придумывал, — о том, например, как мальчик попал в плен и его пытали, но он не выдал

военных секретов. "А мальчик был русский?" — спрашивала я. "Да", — сказал папа. "А он к кому попал в плен? К французам?" Мне казалось, что этим хитрым вопросом я поставлю его в тупик. Папа минутку подумал. "Нет, — сказал он, — я неверно ответил. Мальчик тот был француз, но вырос в России. И когда его взяли в плен, он все-таки русской тайны французам не выдал". — "Почему?" — так и вцепилась я. "Потому что у него была честь", — ответил мой допотопный папа. — Нора судорожно вздохнула. — Вот, Аурелиу. Ты попросил о детстве... Не знаю, что получилось. Да мало ли, что еще было? Всего не расскажешь...

Опять стал накрапывать дождь, да все шибче, все гуще, и, взявшись за руки, они заспешили в корпус. А едва лишь успели вскочить в подъезд, небо треснуло, дождь обломился, рухнул и пошел грохотать, кипеть и раскатываться по асфальтовому двору.

НЕ ОТ МИРА СЕГО

— Послушайте, — сказала однажды Катя, — не пора ли нам перейти на "ты"?

— Конечно, — сказала Нора.

— А то, понимаешь, я не привыкла... Да и мы же с тобой одного профсоюза, чего там. Верно?

Нора кивнула.

— Понравилось, как я пела?

— Очень, — сказала Нора. — Вы... Ты замечательно пела. Чьи это были песни?

— Деревня! Новеллы Матвеевой.

— Кто это?

— Слу-ушай! Выйдешь отсюда, я тебя образую. А Булата хоть знаешь?

—Нет.

— Ну, милая... Ты не от мира сего. Где ты вращаешься?

— Я? — пожала плечами Нора. — Нигде.

— Это и видно. Ну ничего, я за тебя возьмусь.

Сегодня у Кати была другая прическа: гладкие волосы с завитыми концами были распущены по плечам. И даже веснушки куда-то исчезли — кожа казалась гладкой и загорелой. Катя стала красивее, но прежде, с веснушками и султанчиком, она имела индивидуальность, теперь это как-то стерлось.

— Что смотришь? — сказала Катя. — Не видела тона?

— Какого тона?

— Господи! Ну, даешь. Откуда такие берутся? У тебя, небось, и любовников не было?

Нора смутилась. И почему-то стыдно было признаться, что нет.

— А у тебя? — как ей показалось, ловко выкрутилась она.

— У меня-то хватало, — просто ответила Катя. — Слушай, давай поговорим про любовь?

— Давай, — с запинкой сказала Нора. И тут же подумала: как это можно кому-нибудь рассказать про их отношения с Ильей? Кто поймет? Кто рассудит? Как выразить все, не опошлив, не упростив? Не умертвив, наконец, того, что еще в них оставалось живого?

Они сидели в комнатке у телевизора — маленького "КВН" с экраном чуть больше почтовой открытки и с линзой, в которую время от времени подливалась дистиллированная вода. Телевизор был сломан. Поминутно кто-то заглядывал к ним, спрашивал: "Не работает?"— и бранясь уходил.

Нора со страхом ждала от Кати вопросов, но та, по-видимому, не имела намерения их задавать. Ей хотелось говорить о себе.

Оказалось, что был у нее недавно один человек, абсолютно свой, за которого можно ручаться, как за себя самое, но характер имел кошмарный, прямо сказать — сволочной, со всякими фанабериями: то душа у него болит, то живот, котлеты за шесть копеек есть не заставишь, подавай ему шашлычок, да не как-нибудь, а с кавказской травкой — тарсуном, кинзой, словом, послала она его к черту и не жалеет. Впрочем, теперь с этим делом и вовсе завязано, кому подобная страхолюдина, без обеих грудей, нужна — разве что чокнутому или больному раком, как образно выразился Хрущев, тоже не то, чтоб на ярмарку — с ярмарки едет...

— Не работает? — спросила, сунувшись в дверь, какая-то рожа.

— Нет, — ответила Нора.

— У, едрит вашу!.. — бросила рожа и скрылась.

Хотя, если быть честной (вновь повела свою речь Катя), не очень-то соблазнительна и одногрудая женщина, так что даже она удивляется тому мужику — чего он с ней цацкался больше года, мало, что ли, молоденьких девок? И, поскольку он был, несмотря на свои капризы, человеком в общем-то добрым и тонким, ему иногда удавалось выказать милоту, например: "Ты очень пикантна, и мальчик и девочка сразу, плохо ли?" Но ей было плохо, потому что сначала она никак не могла подобрать протез, моталась за ним куда-то на Ленинский, в специальную поликлинику, где ее привели на склад, а там на полу громоздилась высокая куча поролоновых женских грудей — ну, чем не "Апофеоз войны" Верещагина? Покопалась она в этой куче, выбрала, но разве у нас хоть что-нибудь делают по-людски? Протез был уродливый, и как она только ни подправляла, ни подрезала его — все получалось заметно, а вскоре еще хренолон этот стал загнивать, мокнуть и превращаться в желтую липкую жижу. Словом...

— Не работает?

— Нет!!! — закричали хором Нора и Катя.

Словом, пока ей не подарили прелестный, даже с сосочком — их нравы! — французский протез, она мучилась страшно. Да и потом ей все-таки приходилось зорко следить за собой: чашка с протезом, как более легкая, всегда норовила задраться вверх. Зато уж сейчас, без обеих грудей, будет вроде как симметричнее, и не надо все время оттягивать лифчик либо пристегивать его к поясу, что вовсе не так уж удобно летом. И, если бы ей удалось раздобыть второй французский протез...

— Не работает?

—Нет!

Да, если бы удалось, она бы недурно выглядела, тем более (усмехнулась Катя), что пышные бюсты нынче не носят, а с маленьким, аккуратным, во-первых, не так заметно, а во-

вторых, получился бы модный силуэт. Да ладно, сумеет она обойтись и без этих проклятых буржуев, из чего-нибудь уж сварганит себе приличную грудь, но вот неизвестно, сколько ей жить-то осталось и, может, нечего колготиться? А впрочем, не это ее волнует, не то, что жизнь подходит к концу. Если б она за нее цеплялась, то, черт возьми, согласилась бы на леченье. И эту сегодняшнюю бодягу (фыркнула Катя) завела она просто со скуки... Правда, есть одно существо, которое дорого ей, и ради него... Но не в этом дело, а надо решиться выйти на площадь, тогда бы, честное слово, не жалко и умереть!

— На площадь? Зачем? — с удивлением спросила Нора.

Но оказалось, что Катя знала. Она заявила, что надо выйти с плакатом, неважно, с каким именно — "отмените цензуру" или "дайте свободные выборы" — лишь бы напомнить людям, что можно бороться, и когда она, Катя, поймет, что дни ее сочтены...

— Не работает?

Но на этот раз заглянул Аурелиу. Обе они покраснели.

— Вы что тут сидите, как мышки? — с доброй улыбкой спросил он.

— Так, треплемся, — ответила Катя, откинувшись к спинке стула и покачивая ногой.

(Окончание в следующем номере).

В издании Французского Национального Института славяноведения (Париж) вышла книга:

Ефим ЭТКИНД

МАТЕРИЯ СТИХА

Оглавление

Глава I. Предмет поэзии.
Глава II. Поэзия как система конфликтов.
Глава III. Слово и текст.
Глава IV. Звук и смысл.
Глава V. От словесной имитации к симфонизму (принципы музыкальной композиции в поэзии).

В монографии Е. Эткинда читатель найдет разборы стихотворений и поэм следующих авторов:

Херасков, Ломоносов, Державин, Жуковский, Баратынский, Батюшков, Крылов, Дельвиг, Рылеев, Бестужев (Марлинский), Пушкин, Вяземский, Языков, Давыдов, Полежаев, Лермонтов, Тютчев, Фет, Некрасов, Минаев, Бальмонт, Блок, Брюсов, Андрей Белый, Гумилев, Ахматова, Мандельштам, Хлебников, Маяковский, Цветаева, Пастернак, Асеев, Заболоцкий, Тихонов, Бродский.

502 стр., цена 70 франц. франков ($ 14)
Заказы и чеки направлять по адресу:
Institut national d'etudes slaves.
9 bis, rue Michelet, Paris Y1 erne, France

Аркадий ЛЬВОВ

СОБЕСЕДОВАНИЕ

— Николай Павлович, — сказал он и рассмеялся. — Имя и отчество мое, как у царя, но я не царь. Случайное совпадение.

Он опять рассмеялся, спросил, отчего я стою, а не сажусь рядом, на свободный стул, и хлопнул рукой по сиденью: да садись, в ногах правды нету.

Я прислонил портфель к ножкам стула, чуть под углом, чтобы не упал от неосторожного движения, проверил, хорошо ли пригнана верхняя кромка портфеля к распорке, и сел.

— Не упадет, — махнул рукой Николай Павлович, — а упадет, тоже не трагедия.

Я кивнул головой, он смотрел мне прямо в глаза, я почувствовал неловкость, желание увести взгляд, но он вдруг сам закрыл глаза и тихо, вроде со вздохом, хотя на самом деле никакого вздоха не было, произнес:

— Много значения стали придавать мелочи. А мелочь отвлекает, внимания требует. От мелочи мельчаем.

Каламбур получился неожиданный, Николай Павлович сам удивился ему и, когда вполне осознал его смысл, очень обрадовался.

— От мелочи мельчаем, — повторил он. — Это, как болезнь: чем больше прислушиваемся, тем больше находим.

Я сказал Николаю Павловичу, что это очень точное наблюдение, и привел пример из собственного опыта.

— Верно, — согласился со мной Николай Павлович, — болезнь холить нельзя: от этого она только нахальнее делается. А вот лошадь холить надо — от этого она прытче бегает. Правильно сказал поэт: али я тебя не холю, али ешь овса не вволю!

Теперь мы засмеялись оба одновременно, потому что поворот мысли получился совсем непредвиденный и появилась та легкость, какая бывает от полной естественности.

— Али я тебя не холю, али ешь овса не вволю! — приговаривал Николай Павлович, подмаргивая мне, вроде, кроме нас двоих, здесь был еще третий, от кого мы должны были маскировать свое единомыслие тайными знаками.

Когда мы насмеялись вдоволь, Николай Павлович провел платком под глазами, укоризненно покачал головой и признался, что эта слабость — смеяться по пустякам — у него еще с детства, и ни за кой хрен не сладишь с ней.

Я сказал, что слабости есть у каждого, не одна, так другая, но в этот раз Николай Павлович не одобрил меня, напротив, даже погрозил мне пальцем, и, хотя слов не говорил, я без слов понял, что мое суждение с червячком, потому что я слабость слабостью и подпираю. В логике такое обоснование называется "круг в доказательстве".

— Круг в доказательстве, — произнес я вслух.

— Да, — сказал Николай Павлович, — циркулюс вициозус, порочный круг. Этой хитрости уже пять с половиной тысяч лет.

Я сказал, пожалуй, больше будет. Николай Павлович возразил, что человек с высшим образованием не имеет права строить гипотезы на пустом месте, надо опираться на данные истории: государству и классовому обществу — пять с половиной тысяч лет, первое государство образовалось на берегах Нила в середине четвертого тысячелетия до новой эры. А всякая хитрость имеет классовый характер, еще Август Бебель

предупреждал: если тебя похвалил враг, подумай, что плохого ты сделал своему классу.

Я сказал Николаю Павловичу, что это слова крылатые, но не все по-настоящему понимают их, а слово, если оно формально откладывается в сознании, не становится материальной силой.

Николай Павлович внимательно посмотрел на меня, положил руку на спинку стула и велел придвинуться ближе.

— Насчет материальной силы вы очень правильно сказали. Слово должно зажигать человека, а иначе какое это слово — коптилка! Вони и копоти от него — на червонец, а света и тепла — на копейку.

Он тяжело вздохнул, я чувствовал, что сейчас ему не до меня, что у него какие-то свои, очень важные для него мысли появились.

— Я о вас сейчас думаю, — сказал вдруг Николай Павлович. — Вы думаете, у меня какие-то свои, далекие мысли, а я о вас думаю.

Отпираться было глупо, и я честно признал, что предполагал у него всякие другие мысли, но не обо мне. Он одобрительно кивнул головой, крепко прижал ладонь к столу, ощущение досады от промаха хотя не проходило у меня, но утратило ту мучительность, какая бывает от стыда за собственное недомыслие.

— Вы не браните себя, — сказал Николай Павлович, — каждый способен ошибиться, а признать ошибку не каждый способен. Другому помогай-не помогай, а он, как два барана, которые оба с мостика в реке утопли.

Николай Павлович засмеялся, я вспомнил веселые детские стихи — в этой речке утром рано утонули два барана! — и тоже засмеялся.

Когда кончили смеяться, Николай Павлович отчего-то загрустил, я подумал, уж не допустил ли бестактность, но он сам же успокоил меня, сказал, что никакой моей вины здесь нету, а все дело просто в ассоциации: стихи, которые я вспомнил, еще в детстве ему читали, потом он своему сыну эти стихи читал, потом сын будет своему сыну читать, так что

время течет-течет, и никто его не остановит — ни царь, ни бог, как говорится, ни герой.

Я пожал плечами, грустно улыбнулся, он видел, что я по-настоящему понимаю, и, хотя в глазах его по-прежнему держалась печаль, он дал мне почувствовать свою признательность за это подлинное, без слов и объяснений понимание.

— Скажите, — спросил неожиданно Николай Павлович, — а как получилось, что книжка, которую вы редактировали, вышла с такими изъянами?

Перед последним словом — изъянами — он на мгновение задержался, и я понял, что он уже на ходу заменил им другое, более категорическое и, возможно, более уместное слово.

Вопрос застиг меня врасплох: не потому, что я не ожидал его, напротив, я все время держал себя в готовности, но когда он был произнесен голосом Николая Павловича, я очень определенно почувствовал, что вопрос этот, хотя слова наши почти все были одинаковые, совсем не тот, который до этого мгновения произносился только моим голосом.

— Николай Павлович, — сказал я, — Николай Павлович...

Следующие слова у меня были "черт попутал!", и никаких других вначале не было, но я отчетливо сознавал, что ничего глупее этих слов придумать сейчас нельзя, и заставил себя удержаться на первых — обращении по имени и отчеству.

— Черт попутал! — рассмеялся Николай Павлович и немедля прижал меня. — А признайтесь, думали про черта!

— Думал, Николай Павлович!

После этого признания у меня вроде камень с груди сшибло, а Николай Павлович сказал про мою сосудистую систему, что она чересчур лабильна и предрасполагает к гипертонии. Это замечание Николая Павловича было очень точное, я поразился его наблюдательности и сообщил, что впервые про свою склонность к гипертонии узнал в университете, когда сдавал государственные экзамены. Давление было, правда, в верхних границах нормы — сто сорок на девяносто, — но врач особо подчеркнул: учтите, в верхних.

Николай Павлович сокрушенно покачал головой:

— Здоровье надо беречь смолоду. Не бережем здоровья.

Я вспомнил французскую мудрость: если бы молодость знала, если бы старость могла. Николай Павлович сказал, что мысль правильная, но на французов не обязательно было ссылаться: наблюдение это имеет общечеловеческий характер, и никакого особого приоритета за французами он здесь не видит.

Я хотел объяснить Николаю Павловичу, что сослался на французов просто так, по инерции книжника, но вдруг сообразил, что душа правды ведь за ним, а не за мной — человеком, который предпочел формальную сторону дела самому делу.

— Деталь, — сказал Николай Павлович, — играет немаловажную роль: она может перенести акцент мысли и даже повернуть его на все сто восемьдесят градусов.

— Может, — подтвердил я и хотел, в подкрепление, привести пример из личной жизни или практики нашей работы, но ничего подходящего вспомнить не мог.

— Не трудитесь, — тепло произнес Николай Павлович. — Мысль, если она правильная, не обязательно подкреплять иллюстрацией. Наоборот, от иллюстрации, от примера она может и потерять, потому что получит узкие рамки.

Это соображение насчет узких рамок мне тоже два или три раза уже приходило в голову, но вслух я не высказывал его: недоставало, должно быть, той завершенности, когда человек точно чувствует, что пора изложить,

Я поделился с Николаем Павловичем этим наблюдением над собственными побуждениями и тормозами, он сказал, это хорошо, что я не тороплюсь со своими скороспелками, но, с другой стороны, надо бы и больше дерзать, а то инициатива хиреть будет: у меня захирела, у другого, у третьего — вот и убыток стране, народу.

— Инициатива в нашем деле, — улыбнулся Николай Павлович, — это как рационализация в машиностроительной, литейной или другой отрасли промышленности. От рационализации нам миллионные экономии идут, а без рационализаторства у нас бы этой экономии с гулькин нос было.

Параллель была мне понятна, я сам для себя такие параллели находил, когда надо было важное решение принять или сделать практический шаг, но почти всегда от этих поисков неприятный осадок оставался: досада, что ли, зависть к производственникам, у которых взял счеты, арифмометр, перебросил костяшки, покрутил ручку, и все тебе — прибыль, убыль, сальдо — как на ладони.

— Некоторые, — укоризненно произнес Николай Павлович, — я про вас не говорю, думают, что в промышленности или сельском хозяйстве все на виду: дебет, кредит, баланс! Нет, уважаемые товарищи, ошибаетесь — это только со стороны так кажется, а на самом деле там крутить мозгами надо, а то такую экономию наведешь, что всю зиму и весну в одних портках проходишь.

Когда Николай Павлович еще только начал свое рассуждение, в голове у меня вдруг сделалось жарко и перед глазами красные, как кровяные тельца, кружочки поплыли. Я провел в воздухе рукой, но они все плыли в сторону Николая Павловича, однако, его не достигали, пропадая где-то на полпути, причем незадолго до исчезновения становились лиловыми с зеленым ядром в центре.

Николай Павлович налил в стакан воды, поставил его на блюдце и так, с блюдцем, подвинул ближе ко мне. Я думал, он скажет: "Выпейте воды, от воды легче делается", — но он спокойно продолжал свое рассуждение, предоставляя мне самому решать, пить или не пить поданную им воду. Я сделал глоток, задержав предварительно, как советуют йоги, воду во рту, кружочки поблекли, по лбу, вроде махнули веером, прошел холодок, Николай Павлович смотрел в окно. На ветку каштана, которая вся была без листьев, села ворона, сначала боком к окну, потом повернулась вперед головой, глаза у нее блестели черно, как черное стекло на морозе, Николай Павлович кивнул в ее сторону:

— Умная птица. Триста лет живет. До шести умеет считать. Грустинкой веет от нее.

— Веет, Николай Павлович, — сказал я. — Народ не зря вещую птицу видит в ней.

— Не зря, — согласился Николай Павлович. — К народу прислушиваться надо. Мы еще от многого отмахиваемся: суеверие, пережитки прошлого! А отмахиваться нельзя, надо сперва хорошенечко проверить, а потом уже отмахиваться. Крестьянин, колхозник может нам еще столько порассказать — только держи ушки на макушке. А то некоторые думают: вся мудрость в городе — здесь институты, лаборатории, наука. А наука вся своими корнями откуда идет — из асфальта, из паркета?

— Асфальт, — сказал я, — смола, а паркет — дубовая чурка. Николай Павлович засмеялся: по-разному бывает — у кого дубовая, у кого буковая или березовая.

Когда видишь зрачок, можно точно определить, на тебя или не на тебя смотрят глаза, а когда зрачка не видно, точно определить нельзя. Николай Павлович склонял голову влево, вправо, ворона сидела неподвижно, клюв ее был обращен острием в нашу сторону, однако, точного заключения насчет того, следит она за нами или не следит, сделать было невозможно. У меня лично не проходило ощущение, что следит, но говорить о таких вещах, вслух глупо, потому что никакого разумного обоснования этому своему ощущению найти я не мог бы.

— Как же это получилось, — спросил Николай Павлович, — что книга, которую вы редактировали, вышла в свет с такими изъянами?

Я пожал плечами, улыбнулся, Николай Павлович не смотрел в мою сторону, но тоже улыбнулся и сказал:

— Это я риторический вопрос задаю: "как получилось?" Сколько лет прошло, а избавиться от риторики не можем. Если бы человек видел заранее свои ошибки, зачем бы он стал их допускать.

— Не стал бы, — поддержал я Николая Павловича. — Ошибки — это почти всегда неприятность от начальства, от людей, а кому нужны неприятности.

— У вашего автора там, — сказал Николай Павлович,— девушка согрешила и стоит перед церковью с мыслью про то, что она недостойна стоять здесь. Церкви этой триста лет с гаком, значит, мудрость веков заключена в ней. Так?

— Так, Николай Павлович.

Ворона внезапно подалась вперед, распластала крылья и взлетела. Перед самым взлетом она раскрыла клюв, но не каркнула.

— Религия, — задумчиво произнес Николай Павлович, — опиум для народа. Этот опиум можно давать народу в разной упаковке. Вроде сигареты: такая красивая коробочка — как не закурить!

— Особенно подростки, — сказал я. — Они коробочки собирают, а где коробок — там и цигарка.

— Верно, — кивнул Николай Павлович. — Храм — тоже в своем роде коробка. Мы говорим об архитектурной ценности храмов. Правильно это или неправильно? Правильно, но архитектурную ценность определить может только специалист, а не всякий, кому вздумалось про грех писать и героев своих на колени перед папертью бросать. Если храм архитектурную ценность имеет, на нем обязательно бронзовая или чугунная доска будет: "Охраняется законом". А если такой доски нет, значит, ей и не место там.

— Не место, — подтвердил я.

— Но возьмем такой случай, — продолжал Николай Павлович, — доска есть. Что же, надо бросаться на колени? Вот построили у нас комплекс спортивных сооружений, какого еще не видели, он уже теперь памятник зодчества, так пусть она перед ним бросается на колени, перед этим гением народа в мраморе и бетоне! Не, не бросилась — он, твой автор, перед крестом устроил ей коленопреклонение.

Суждения Николая Павловича были безупречны. Я сказал ему об этом прямо: "У вас логика такая — не подкопаешься". Ему были неприятны эти слова, он поднял ладонь, остановил меня и вдруг стал опровергать собственные свои тезисы.

— Вы говорили про мою логику, что под нее не подкопаешься. Это напрасно, зря, я не бог, чтобы не ошибаться. И не папа какой-нибудь римский, — засмеялся Николай Павлович, — чтобы непогрешимость свою на первый план выставлять. А логика моя очень уязвима с точки зрения эмоций. Если неверующий, атеист в трудную минуту жизни бросается

на колени перед церковью, значит, у него не в порядке с эмоциями.

— Не в порядке, Николай Павлович, иначе бы не бросался.

— А задача писателя какая? Если механизм испортился, мастер, инженер обязан дать ему ремонт. Писатель — это инженер человеческих душ, значит, он должен разобраться в этих душах и не следовать за ними, как тот дурной щенок, — улыбнулся Николай Павлович, — а направлять их. Что героиня бросилась на колени перед храмом, когда грех припер ее к стенке, в этом еще никакой работы автора на религию нет. А вот когда отсутствует четкая дифференциация, бросилась она перед храмом, где кадят богу, или стала на колени перед творением рук народных, тут уже начинаются прямые уступки попам. И тут бы вы, редактор, напомнили ему про Белинского, который сто тридцать лет назад писал нашему уважаемому Николаю Васильевичу Гоголю, что русский мужик еще при крепостном праве смеялся над попами и анекдоты про них рассказывал. При крепостном праве! А теперь этому мужику уже полвека с гачком по новому летосчислению.

Николай Павлович вдруг остановился, посмотрел на меня пристально и спросил, успеваю ли я следить за его мыслью. Я ответил, что успеваю, но он покачал головой:

— А я думаю, не успеваете. Вы сейчас не меня слушаете, вы сейчас своей оплошности удивляетесь.

Первое желание у меня было повторить слово в слово рассуждения Николая Павловича и тем исключить всякие подозрения насчет недостаточного внимания, но Николай Павлович рассмеялся, подмигнул мне и предупредил, что эти школярские номера у него не проходят. Наукой установлено: у человека есть два вида внимания — автоматическое и сознательное. Про первое точнее было бы сказать, что оно даже не внимание, а просто память, которая машинально хватает все, что идет под руку. А настоящее внимание — это второй вид, оно без волевой установки на цель невозможно.

— А вы, — опять подмигнул Николай Павлович,— девятый класс вспомнили, письмо Белинского к Гоголю там прохо-

дили. Потом в университет перескочили, сразу на второй курс, когда девятнадцатый век читали вам.

— Не в бровь, — сказал я Николаю Павловичу, — а в глаз. Но, ей-богу, сам не заметил.

— Ладно, — махнул рукой Николай Павлович, — это со всяким бывает.

Подумав немного, он заметил, что и ошибки бывают такого же происхождения — от недостаточной волевой установки на цель. Моя ошибка, по предположению Николая Павловича, тоже произошла от недостаточности установки. Если бы я заранее сказал себе, чего именно ожидаю от своего автора, то наверняка уберег бы и себя, и его от изъянов.

— Метод, приемы, — подчеркнул Николай Павлович, — не могут быть двусмысленны. Двусмысленность приема ведет к двусмысленности текста, а получилось это субъективно, по воле редактора и его автора, или объективно, помимо их воли, играет второстепенную роль.

Я сказал Николаю Павловичу, что его мысли насчет роли субъективного и объективного факторов — это, буква в букву, мои мысли.

— По форме да, — тепло произнес Николай Павлович, — но содержание превалирует над формой — это назубок надо помнить, а то всяких случайностей в сорок бочек не уложишь.

— Опыта не хватает. Теория без практики мертва.

— А практика без теории слепа, — возразил Николай Павлович, — тут в крайность впадать нельзя, баланс, равновесие соблюдать надо. Недооценка и переоценка фактора — два полюса одного явления. Правильно в народе говорят: что в лоб, что по лбу.

Городские куранты ударили три раза: бум, бум, бум! Николай Павлович приподнял левый рукав, сказал, что куранты спешат на минуту, но, тем не менее, пора обедать. Мне понравилась шутка Николая Павловича, я отдал ему должное и заодно извинился, что так безбожно задержал его: у нас обедают с тринадцати до четырнадцати.

— Нет, — сказал Николай Павлович, — вы не задержали меня. Коли хотите, вместе и пообедаем.

Предложение Николая Павловича застигло меня врасплох, я смутился, он коснулся ладонью моего плеча и очень просто объяснил, что дело это хозяйское и никакого значения придавать ему не нужно.

— Не нужно, — согласился я и опять почувствовал неловкость, теперь уже из-за того, что вызвал весь этот разговор по поводу естественного предложения Николая Павловича пообедать вдвоем.

В большом зале "Красной" было полутемно: главные светильники зажигают после семнадцати, когда входят в силу правила собственно ресторана, — с двенадцати до семнадцати здесь обедают по общедоступным столовским ценам.

Официант подошел к нам через пятнадцать минут. Николай Павлович сказал ему:

— Мы ждали вас пятнадцать минут: он пятнадцать и я пятнадцать — итого полчаса.

Официант объяснил: время не очень удачное — в малом зале интуристы обедают, он обслуживал их и немного задержался.

— Полчаса, — повторил Николай Павлович, — наши тридцать минут, я думаю, не дешевле, чем их тридцать.

Официант пожал плечами: ничего не поделаешь — закон гостеприимства. И приказ администрации. Ссылаясь на приказ администрации, официант улыбнулся, Николай Павлович тоже улыбнулся и покачал головой.

— А свет почему не дают полный?

Насчет света, ответил официант, мы сами можем пройти в малый зал и убедиться, что там такое же освещение, как здесь.

— Значит, — вздохнул Николай Павлович, — если им достаточно, то нам и с избытком. Так?

Нет, сказал официант, он, лично, так не думает, он просто ответил на замечание Николая Павловича насчет обслуживания обоих залов — малого и большого.

— И я о том же, — произнес жестко Николай Павлович, — и не надо делать хорошую мину при плохой игре. Не надо.

Официант опустил голову, было впечатление, что он тяжело покраснел, но, возможно, это лишь казалось, потому что свет падал на его лицо теперь иначе, нежели прежде, когда голова была в нормальном положении.

Николай Павлович заказал комплексный обед: официант предупредил, что порционные блюда надо ждать минут двадцать, не меньше.

— А как второе? — спросил Николай Павлович.

— Духовая говядина хороша, — очень искренне ответил официант. — Картофелек чуть перерумянился. На любителя.

— Я любитель, — сказал Николай Павлович.

— Вам повезло, — обрадовался официант. — Гарнирчик одинарный, двойной?

— Не надо двойного, — Николай Павлович махнул рукой. — Одинарный.

— Так, двойного не надо, одинарный, — повторил официант. — Кстати, только что завезли партию армянского, три звездочки. Очень советую: с перебоями в последнее время.

Николай Павлович подтвердил, что с армянским действительно туговато в последнее время. Я попросил официанта захватить триста граммов.

— Триста? — с сомнением произнес Николай Павлович.

— Триста, — записал официант. — И лимончик.

— Лимона не надо, — решительно отказался Николай Павлович, — у меня без лимона кислотность девяносто.

Я сказал Николаю Павловичу, что с такой кислотностью шутить нельзя, а он улыбнулся, вроде это нисколько его не пугает.

— Почти две нормы, на двести процентов выполняем.

— Послушайте, — не мог успокоиться я, — нельзя же так жестоко относиться к себе.

Николай Павлович по-прежнему улыбался, но теперь это была улыбка человека, который понимает всю бесполезность, всю тщету ропота и жалоб:

— Чтобы болеть, надо иметь свободное время.

Это я тоже хорошо понимал — чтобы болеть, надо иметь

свободное время, — и, как ни трудно было, принудил себя прекратить глупые упреки в адрес Николая Павловича.

— Ну вот, — одобрил меня Николая Павлович, — я вижу, вы понимаете.

Коньяк был отменный, Николай Павлович сказал, что от водки получается спазм сосудов, водка — этиловый спирт, а от коньяка спазмов не бывает, коньяк — виноградный спирт. Вообще, между коньяком и вином главная разница в градусах, а вином теперь лечат, как обыкновенным лекарством, — энотерапия называется.

Насчет мяса официант не подвел нас — оно было тушено как раз в меру. Николай Павлович после второго куска заметил: человек устроен так, что ему приятно зубами работать, а если все размолото до последнего хрящика, тогда выходит уже не еда, а прием пищи.

Наблюдение было очень точное, я сказал, что тоже обратил на это внимание, но вот так образно, в двух словах, выразить не мог.

— Расточительно относимся к слову, — сурово произнес Николай Павлович, — думаем, что ему ни износу, ни конца не будет. А диалектика учит нас: что имело начало, будет иметь и конец.

Я вспомнил Маяковского — слова ветшают, как платье, — хотел прочитать вслух, но Николай Павлович вдруг улыбнулся и сказал: если очень невтерпеж, можно и процитировать, а вообще увлекаться цитатничеством не надо — прошли те времена.

Официант принес кофе в мельхиоровом кофейничке, Николай Павлович удивился, что не в медном, черный кофе полагается варить в медной посуде. Официант объяснил, что жалобы уже были, дирекция сделала спецзаказ на медные кофеварки, обещали в этом квартале удовлетворить.

— А раньше куда смотрели? — тихо спросил Николай Павлович. — Выходит, без жалоб никак нельзя.

Официант не ответил на слова Николая Павловича, но было отчетливо видно, что он того же мнения. Когда официант ушел, я сказал, что этот парень чем-то нравится мне, Николай Павлович согласился:

— Хороший хлопец, знает, как держать себя на службе.

Потом Николай Павлович еще добавил: ученые подсчитали, что официант за восемь часов работы делает десять километров, из них почти половину — с подносом на руках. Тяжела шапка Мономаха.

Счет принесли нам общий. Я успел положить деньги на стол, пока Николай Павлович искал свой кошелек. Официант вынул горсть серебра, чтобы дать сдачу, Николай Павлович остановил его: считать каждому отдельно.

Обед, если не допускать излишества, приносит покой и ощущение порядка. Николай Павлович заметил, что из-за стола надо вставать с чувством некоторого голода: организму требуется время, чтобы учесть, в каком объеме поступила пища. Иначе получается, что поел как будто в меру, досыта, а через полчаса тяжесть такая — дохнуть нечем.

— Ну вот, — нарочно крякнул Николая Павлович, — одно дело, мамаша, сделали.

— Сделали, Николай Павлович, — рассмеялся я.

Раньше, до обеда, мы сидели за директорским столом, теперь, по предложению Николая Павловича, передвинули стулья к окну. От батарей подымалось волнами тепло, явственно ощущалось на уровне руки, но иногда вдруг прокатывалось мягко по щекам и тогда воспринималось заново, как добро, которое, из-за его постоянства, едва не перестаешь замечать.

— Тепло — это жизнь, — вздохнул Николай Павлович. — С сорок первого до сорок третьего я под Питером воевал. Думал, никогда не отогреюсь. И в госпитале замерзал. Шестнадцать ранений было. Вы какого года? А, под стол еще пешком ходили.

Николай Павлович задумался, потом опять заговорил — медленно, размышляя вслух:

— Жизнь испытать по одному воображению нельзя — ее, чтобы по-настоящему, надо на деле испытать. На собственной шкуре. А нынче такие ухари завелись, подставь ему только машинку — он тебе про что хочешь настрочит: про двадцать первый, про тридцать седьмой, про внезапность,

какая она была взаправду, про то, как слепили фашиста в его собственном логове, когда Берлин в апреле сорок пятого брали. А сам он в те года мамкину сиську зубами рвал, потому что молока в ней было кот наплакал. А ваш автор? Вот, говорит, как жалко, стародавний храм, церковь затопили! А что колхозная земля погибала от жажды, от засоления — это ему не жалко. Межколхозное водохранилище напоит людей, землю, скот, это благо для народа, а он про церковь сокрушается, где веками дурили человека: памятник архитектуры, душа народа, традиции! А редактор, где в это время был? Курица спит и во сне просо видит, а редактору не просо считать, редактор недреманное око своего автора, первый друг ему.

Николай Павлович сделал паузу; я сказал, что готов расписаться двумя руками под каждым его словом, но понимание мое, наверно, носит еще преимущественно академический характер. Кроме того, когда работаешь с автором, надо больше анализа: интуиция интуицией, а без анализа в собственных подтяжках запутаться можно.

— Вы бы, — вернулся Николай Павлович к своей мысли, — по художественной линии показали автору его заблуждение. Художественность — это типичное в типичных обстоятельствах. А какая у него могла быть типичность, если дело, про которое он взялся рядить, требует конкретности: геодезии, мелиорации, почвоведения, биологии, агрономии, колхозной экономики. Вам бы, прежде чем за такую тему браться, надо было книжками обложиться, со специалистами поговорить. Толстой, когда "Войну и мир" задумал, тридцать пудов материала переворотил, одной переписки с очевидцами ему бы на десять томов хватило. А Лев Николаевич, только захоти, на одном своем гении выехать мог. И слава была бы ему мировая, и почести — только в совести художника чересчур бы большая прореха образовалась, а Толстой чувствовал ответственность перед народом.

— Чувствовал, Николай Павлович. И ведь, что удивительно: до этого графа мужика-то настоящего в русской литературе не было. Матерый был человечище.

— Матерый! — восхищенно произнес Николай Павлович. — Матом, где надо, загнуть мог, Чехова, Антона Павловича, покраснеть заставил. Максим Горький — и тот смутился, всю Расею пешком исходил, а смутился. Вот это граф!

Николай Павлович захохотал, поддел меня пальцем, я тоже засмеялся, внутри, где средостение и солнечное сплетение, вроде разомкнулось что-то. Все последние дни, пока ждали комиссию, оно сидело во мне и закручивало, а теперь, в одну секунду, отпустило.

— Ну вот, — сказал Николай Павлович, — теперь вы больше понимаете, что к чему. Не все, конечно, но больше.

— Спасибо, Николай Павлович.

— Чепуха, — махнул он рукой. — Решение, значит, такое у нас, примерно, будет: от редакторства освободим, используем, по возможности, здесь же — в корректорской, редактором по рекламе, в отделе оформления. Если нет, подыщем другую, равноценную, работу. Насчет взыскания подумаем еще. Может, без взыскания обойдется. Посмотрим.

— Николай Павлович!

— Приказ, когда выйдет, можно обжаловать. Только не прыгайте через голову — лучше по порядку: сначала местком, потом райком союза и выше. Если надо будет, действуйте через суд. Сразу в суд не обращайтесь — все равно спросят: в местком, в райком союза обращались?

— Николай Павлович...

— Вы от своих прав не отступайте, не бойтесь испортить отношения с начальством. Права нам не для того, чтобы от них отказываться. Директор тоже пусть попотеет, пусть докажет свою правду, а то еще случается у нас: паны бьются — у мужиков чубы трещат.

Николай Павлович засмеялся, пожал мне руку, извинился: тут ему кое с кем надо еще потолковать, а то бы он со мной — хоть до полуночи, хоть до пяти утра.

ПОЭЗИЯ АНАТОЛИЯ ЖИГАЛОВА

Поэзия Анатолия Жигалова, которую мне хочется назвать поэзией слюды, вызывает у меня больше живописных и стереоптических ассоциаций, чем работы любого из художников метафизического направления, взятого в отдельности. И вообще, это единственное, известное мне в русской поэзии, изображение такого рода живописи.

Анатолий Жигалов не только поэт, но и переводчик с других языков. Кроме того, он еще художник-модернист, прекрасный знаток и ценитель старинного и нового искусства и литературы. Его стихи очень утонченны, особенно в плане художественно-зрительных ощущений. Они полны вкрадчивого юмора, в них ощущается метафизика мерцающих пространств слюды, подчиненных филиграннейшей обработке звуковой и зрительной пластики образов. А поэтому и философия, и даже тени и грусть у Жигалова изящны и свидетельствуют о высоком уровне филологической культуры поэта.

Илья БОКШТЕЙН

Анатолий ЖИГАЛОВ

ЗЕРКАЛЬНАЯ МОЗАИКА

ПЕЙЗАЖ В СТИЛЕ КИРИКО

Мою любовь измерит манекен,
Мадам, пройдемтесь парой параллельной
Соперница же в зеркале Аллей
Двоится профилем. Крыльцо улыбки
Лишенное перил введет в обман
Сам Винчи уловлял стеклянной сетью
Беглянку губ и глубину долин
У бабочки фасеточное зренье
И это ей мешает видеть суть.
Часы не тикают. А ткут секунды
Льняная ткань смиряет вашу страсть
Другая. Бедра втиснула в пространство
И здесь строитель допустил просчет
Бесстрастный созерцатель сопоставив
Два силуэта выведет иной
Вне наших примитивных измерений

А мне, увы, картину не собрать.
Я точку схода видно перепутал
Прогулки чинной четкий механизм
По парку синтетических эмоций
Введет вас во дворец цветных витрин
Где в позу каждый встанет как он хочет
Наш дом из кеглей закругленных фраз
Разрушит шар пока он не погас.

ЗЕРКАЛЬНАЯ МОЗАИКА

1. ШМЕЛЬ

Мохнатый ангел пестрого народца
Веселый суд поутру затевает
По сини искры рассыпает
Его труба густого звука
Гагатовый камзольчик с позолотцей
И свитков двух летучая наука.

2. РОСА

На створке зелени, чье лоно ловит
Синевы настой
Жемчужина нежна державной белизной,
Яйцо птенца — певца нездешней стаи —
Искристая икринка вся живая,
Пылинка льдистая, беременная светлым
Переливаясь хладом предрассветным
Вдруг вспыхивает острием луча
Всем спектром света явственно звуча
Для взора внешнего являясь
Влажным шаром,
Скрывает вещество, грозящее пожаром,
Как будто из зеркального гнезда
Звеня с зенита на землю упала
И в дольнем граде высью воссияла.

3. ЖАВОРОНОК

Струна, струящаяся влагой
В колодце, раскаленном и пустом
Где плавит синь златых колосьев сонм
В том колоколе безъязычном и глухом
Певучий лагерь —
Фантом вольготного отчаянья
Сквозь пепел полевых молчаний
Сквозь волны стеклянеющего марева
Неудержимо бьет и бьет ключом
И в полдень льет и льет
Смиряя жар его,
Как ветер трав вращает ржи воронку
Поющей раковиной переливы жаворонка.

4. КРЫЛО СТРЕКОЗЫ

Какой работы щедрая рука
Соткала этот кремль несущего весла
Воздушной лопасти ветвистое цветенье
На трубчатом стебле руля,
Что по волне невидимой порхает
Слагаясь в сканное строенье
В ячейках сот вечерних золота
Сверкнув слюдой овеянного дня
Рассеивая вышнее сиянье
На стену трав вдруг капнет витражом
И вновь кружит ладьей неутомимой
Под куполом овеянного дня
Над городом склоняющихся шпилей
Касаньем звона горсть алмазной пыли

5. ЛАНДЫШ

Где две ладьи готического взлета
Ведут зеленый бег из одного гнезда

И там волна до одури крута
Меж ними мачта многоярусна
Скрепляет их в паренье паруса
А реи реют белым, что издать
Звезда пронзительно могла
А над звездой звезда опять
И этих звезд молочная плеяда
Над глянцем целомудренного края
Воскрылий плавного угла
Несется вспять к вратам иного сада

* * *

В полях особая услада
По снежной зерни заяц шьет узоры
Любовные, и ничего не надо
Душе, лишь эти нежные просторы
И на щеке небесная прохлада

* * *

Косноязычье — цвет сухого корнесловья
Миндальный жребий ворошить слова
В преддверии Тебя — Высокое Безмолвье
В словесной чистоте вступившего в права.

* * *

Кто и зачем послал мой карий свет
корявым сумеркам где нет
надежды на исход удачный
и где труднее всех наук
сказавши а или ау
ждать имени во тьме невзрачной

1977

* * *

Так водится так видится: печаль
слетает к нам как будто невзначай
и подает стакан вина и хлеб
и отпечатки пальцев на стекле
чуть запотевшем от дыханья рук
и розовый в прожилках света круг
на скатерти: последний дар любви —
вино и хлеб — и тишина в крови

1977

Е. Шифферсу

Не умерло — как? — светлое? — ау
аушеньки — многоголосо многократно…
в молчаньи цепком сцеживает ум
неистребимое. Ночь сводит пятна

кровавые на летописный свод
в свинцовое подводное удушье…
когда б не кровь, питающая плод
души, не воды, омывающие душу…

что искрилось, чем полагалось стать
что выпало на дно отмученною глиной
в сосуд построится — не черепкам менять
состав, мерцающий по узкой горловине

19. УШ. 76. Преображение Господне

* * *

Что ж нарежь нам пространства на ломаный грош
по краюхе на брата — да в цепь
от галерного маятника стреножь
и стреноженных выпусти в степь

не песчинки считать, не над прахом корпеть
на пернатом пиру холостом
и с грамматикой грубой как ржавая месть
мы высокую песнь пропоем

1975

Э. Штейнбергу

1

Плывущим по волнам плоть — плот и склеп
и сорок дней и сорок лет и сорок
разбитых сороков в блевоте плавал, слеп
к мосту воздушному, что падает на город

и в дальней мгле, где слава не видна
где к выси нет ни капельки доверья
открылась вдруг иная глубина
и грешник греется о радужные перья

что плещут потаенным фонарем
по этим улочкам, где кислая горячка
где колки вечера, где невзначай нырнем
в корытце детское на постирушку прачке

но даже так, но пусть как будто так
тому и быть, о трудный воздух роста
над каждой яминой, где сладок жизни прах:
есть родина в крови и право первородства

дай, Рыбка, косточку, намученным губам
мычать так сладостно и больно:
в сетях отеческих меня колышут волны
и ввысь влекут по птичьим поездам

2

Неизреченное: из золотой реки
слетает голубь. В шепоте "Спаситель"
словесным семенем вопит моя обитель
а Чудный в плавниках клюет с руки

и в трепетный аквариум вплывает
собою все преображая так
что цепенея отлетает страх
и вспыхивает все от края и до края

1976

* * *

Без смазки звук. Обуженное слово
срезает ось и голос. Глаз осип
в песках сыпучего излома
знак мести праотцу не сыт
кузнец кует зерну обнову

железной эры. Горькая разрыв-
трава — не рвите — подождите
хоть чуточку. По правилам игры
еще душа жива, еще я житель
частный земли и щупаю нарыв
ее святой. Перед моим окном
из хрящиков свистящих рыба
плывет, косясь, и подрезает дом
воздушный. А ведь как могли бы!
какая глубина в мерцаньи голубом!

но не дано. Сиреной посинелой
гогочет улица. Высокая стезя
уводит вниз — в разрыв — и что за дело

летейскому ручью до можно и нельзя
когда росток взлетит из влаги омертвелой

4. IV. 77. Страстной Понедельник

Опять размеренный и чуткий
играет в радугу фонтан
жизнь высчитанная до минутки
раскинула походный стан

смерть трудный долг и как-то жарко
на холоде душе
когда сквозит стволами парка
и блещут ножницы уже

когда в зиждительном преддверьи
каких-то новых перемен
душа смиряется в доверьи
к судьбе вершащей смену сцен

1974-77.

Генрих САПГИР

СКВОЗЬ БОЛЬ И БРЕД

Шкатулка медь сургуч бутыль с клеймом
Музейный стул — помойки уворован
Мы в мастерской у Сашеньки Петрова
Покрыты даже пылью т е х времен

Я — звучный ящик П о л и ф о н и о н
На желтой крышке ангел гравирован
Вложи железный диск полуметровый —
И звон! и Вифлеем! и фараон!

Ведь были же трактиры и калоши —
Всего себя в тоске переерошу!
Когда ж печать последнюю сниму —

Рожок играет и коза пасется
В арбатском переулке на снегу
Напротив итальянского посольства

Из книги "Сонеты на рубашках".

ОНА

Не по любви, а с отвращеньем
Чужое тело обнимала...
Не рада новым ощущеньям
На спинке стула задремала

Вина и водки нахлесталась
Подмышки серые от пота
Морщины страшная усталость...
Но предстояла мне работа

Меня вращали в барабане
Пытали в щелочном тумане
Под утюгом мне было тяжко!
И вот обняв чужую шею
Я снова девственно белею
И пахну свежестью — р у б а ш к а !

РВАНЫЙ СОНЕТ

Да все мы — Я но лишь на разных этажах
Страдания. Сквозь боль и бред предчувствием
Себя. Иногда как будто рассветает. Тогда
Истина прозревает тебя. Вот-вот

Коснется особенной ясностью. Сейчас —
Какой-нибудь сучок, ветка, намек, счастливое
Воспоминание. Уже соскользнул Не
Удержаться на этом ослепительном

Острие. Сознание разорвано как
Осеннее дерево. Этот листок —
Улетающее вчера. Этот — зыбкое завтра. А этот —

Совсем уже и не ты. Снова ощупью
Жадно шаг за шагом, день за днем, ночь
За ночью... Но придет же Весна наконец! Или Смерть

ЗЕМЛЯ

(лингвистический сонет)

Не принял дар. Ударил Дарий о з е м ь
Посла. Шла мгла опустошая з а м
А в результате зеленеет озимь
В лучах и листьях бродим по лесам

Зачем з е м л е мы говорим "С е з а м
Откройся"? Не о страшном ли мы просим?
Блестит и пляшет милая глазам
Стоцветная сокровищница — Осень

Или в Крыму — идем беспечно топчем
Подошвой прах полынь пыль — почву вобщем
А там внизу — попробуй гору взрежь

Все вздыблено! гигантский яшер согнут
О господи! проснется — горы дрогнут
Вдруг выдохнет: О Гея! Гильгамешь!

Автор предлагаемой статьи анализирует истоки кризиса израильского общества с левых, социалистических позиций. И хотя редакция не согласна с этими позициями, мы считаем, что ряд приводимых оценок и наблюдений не могут не вызвать интереса у читателей.

Соломон ЦИРЮЛЬНИКОВ

ИСТОКИ КРИЗИСА

Вот уже свыше одиннадцати лет со времени Шестидневной войны находится Израиль в перманентной тяжбе с окружающими арабскими государствами. Эти одиннадцать лет полны жертв, испытаний и беспрерывной войны нервов. В известном смысле — это война на выдержку между трехмиллионным Израилем и многомиллионным арабским миром. Обращая взгляд на эти прошедшие годы, Израиль может с удовлетворением сказать, что он в войне этой выстоял.

Вместе с тем, ни для кого в мире не секрет, что израильское общество пребывает в состоянии глубокого общественно-морального кризиса, истоки которого уходят не в войну 1967 года, но который углубился в результате этой войны.

В Израиле уже не целуют землю праотцев, а отчаянно спекулируют ею, бешено взбивая цены, несмотря на то, что около 98% земли принадлежит Еврейскому Национальному Фонду. "Черный" капитал, исчисляемый сотнями миллионов

и миллиардов, держит экономику страны за горло и диктует ей свои законы.

Или возьмите широко распространившуюся коррупцию, разъедающую высшие звенья государственного и общественного аппарата. Всем известны скандалы, разыгравшиеся в прошлом году на этой почве. Та же картина и в духовной сфере, где царят неверие и цинизм.

Так вот, нет ли здесь противоречия — героический Израиль, с одной стороны, и Израиль бездорожья и безвременья — с другой? Это — большой парадокс израильской действительности, который не может быть отменен никакими спекуляциями, никакими правилами формальной логики, народ, стоящий на смерть за свое национальное существование, оказывается в то же время разъедаемым острыми противоречиями, ставящими это существование под вопрос.

Попробуем, однако, выяснить истоки этого кризиса. Нам придется для этого вернуться к тем временам, когда еврейский ишув в Палестине представлял собой, во многом, образцовое общество, в котором высокие моральные принципы, труд и скромный (чтобы не сказать — спартанский) образ жизни определяли его характер. Это было время второй алии, которая в большой мере явилась результатом отчаяния и разочарования в Русской революции, потерпевшей поражение в 1905 году. Еврейская молодежь устремилась в Палестину, чтобы завоевать своим собственным трудом страну для гонимого и преследуемого народа. Это был порыв, который не оставлял жизненного пространства для лицемерия и лжи, преисполненный высоким личным идеализмом и жертвоспособностью. Именно он заложил все основы будущей еврейской независимости и еврейского рабочего движения в стране.

Один из духовных вождей этого поколения, А. Д. Гордон, тогда писал: "Что такое национализм? И что такое наш странный национализм, который не живет и не дает нам умереть? В чем его сила? Ведь страны у нас нет. Язык? Но ведь ни одного живого национального языка нет у нас, или есть у нас несколько языков не национальных. Религия? Но ведь рели-

гия сходит на нет, и что скажут те, которые не религиозны. Что же представляет собой тот странный, упрямый элемент, трудно уловимый, который не хочет умереть и не дает умереть?.. Мы ищем,— говорит Гордон, — жизнь в ее же живых источниках, в земле нашей и в нашей стране, в которой только и возможно наше творчество".

Третья алия начала двадцатых годов принесла с собой новые волны человеческого материала, на который наложила свой отпечаток во многом изменившая ход истории революция семнадцатого года. Поколение это также стремилось осуществить высокие идеалы социального равенства и всечеловеческого братства. Люди своими руками прокладывали дороги, мостили улицы, тесали камни, строили дома. Были созданы многие поселения на коммунальных началах, заложены основы промышленности, управляемой самими рабочими и их представителями. Это тогда сказал Вейцман на конгрессе 1927 года, что способность наших халуцим голодать — главный пункт в сионистском бюджете. Еврейский частный капитал воздерживался от вложений, прибыль от которых была сомнительна, а когда пришла широкая волна мелкобуржуазной, собственнической алии из Польши в 1924 году, то она разбилась о скалистую землю тогдашней Палестины и быстро отхлынула.

Каким же образом еврейская страна — Палестина халуцианского порыва — превратилась в потребительское общество Западно-Европейского и Американского образца, все более утрачивая при этом свою самобытность?

ДВА ИЗРАИЛЯ

К Войне за Независимость страна пришла единая в своем порыве на жертвы. Это был героический Израиль, который, как ледокол, ломал вокруг себя льды, продвигаясь к своей цел**и.**

Уже и после войны страна оказалась способной удвоить и утроить свое население, ликвидируя еврейский галут в

странах Азии и Африки. Однако эта демографическая и .социальная революция не могла не вызвать глубочайшей встряски в жизни страны. Если еще недавно центральную роль в стране играли — коммунальные и трудовые поселения Дегании и Кинерета, то теперь их место занимают Демона и Шдерот, где хозяйство уже развивается на частных индивидуальных началах. Что же касается сельскохозяйственных поселений, то если в 1947 году кибуцы объединяли 43 тысячи человек, а мошавы (поселения на индивидуальных началах) — 18 тысяч, то уже в 1956 году картина полностью изменилась: население мошавов теперь составляет 93 тысячи человек, а кибуцов — лишь 80 тысяч.

Такова была тенденция развития на пути к потребительскому обществу, Израиль превратился в общество индивидуалистическое, в котором денежный, материальный интерес играл решающую роль.

Открылась новая эпоха подъема среднего класса и люмпен-пролетариата. Средний класс поднимался в результате развития частного капитала, а люмпен-пролетариат — в результате сплошной, неселективной иммиграции из Азии и Африки, принесшей с собой целую категорию людей, нуждающихся в социальном вспомоществовании. При этом люди свободных профессий, число которых чрезвычайно умножилось, принесли с собой не только знания и специализацию, но и совершенно иной ценностный подход к труду и заработкам. Физический труд, который был на вершине моральных и житейских ценностей, опустился до низших ступеней общественной лестницы. Развивался гипертрофированный государственный и общественный аппарат.

Так, по существу, были созданы два Израиля, и это послужило началом глубокой национальной прострации в будущем.

Следует отметить и другой процесс, который получил бурное развитие. Все силы были брошены на то, чтобы привлечь капиталы для развития страны, на создание предприятий, и целая скала щедрых поощрений содействовала бесперебойно этому капиталу. Иными словами: государство своими руками

создавало миллионеров, которые восходили на дрожжах государственного бюджета. При этом на путь легкого обогащения становятся все более широкие слои населения: мелкие и крупные подрядчики, наживающиеся на военных заказах, финансовые дельцы, орудующие на бирже, растущие, как грибы после дождя, все более многочисленные владельцы ханутов*. Все меньшее число людей занимается производительным трудом, без которого невозможно нормальное развитие экономики.

Так создавался добавочный парадокс израильской действительности: бедное, можно сказать, нищее государство, с одной стороны, и благоденствующее население, с другой. К этому следует присовокупить еще одно важное обстоятельство. Израильская победа в Шестидневной войне обернулась тяжким моральным уроном: дешевый арабский труд начал вытеснять в ряде областей еврейский труд. Важнейший принцип еврейского национального возрождения — жить собственным трудом — был нарушен.

Корень многих недугов страны заключается в одном оптическом обмане: мнимом обилии, которое якобы характеризует Израиль наряду с другими европейскими государствами. Этому обману содействуют гигантские кредиты, получаемые из Америки. В действительности же, государственный долг Израиля достигает 13, 8 миллиардов долларов, в то время как наличность израильских банков составляет лишь 3, 7 миллиардов долларов. А огромный перевес импорта над экспортом неизменно держит страну в тисках задолженности и экономической зависимости. Я уже не говорю о том, что капиталы, идущие широким потоком извне, неизбежно развивают психологию паразитизма.

КАРЬЕРА ИЛИ СЛУЖБА НАЦИИ

Среди недугов Израиля самым угнетающим является духовный застой (а может быть, и оскудение), несмотря на развитие сети просвещения и научных учреждений.

* Магазин, лавка.

Этот процесс духовного и морального упадка начался еще до Шестидневной войны, и переломным пунктом явился закат халуцианства.

Этой эпохи уже нет, но нет и новой эпохи, которая подняла бы национальное развитие на новую высоту.

Известен рассказ Брахи Хабас "Движение без имени" 1964 года о том, как Д. Бен-Гурион, переселяясь из Тель-Авива в Сдэ-Бокер, выйдя из дому, когда погружались его вещи в автомобиль, заметил на глазах собравшихся на улице слезы. Обратившись к ним, он резко сказал: вместо того чтобы лить слезы — следуйте за мной. Это была отчаянная попытка повернуть колесо истории, вновь призвать народ к его историческим целям.

Уйдя в Негев, Бен-Гурион созвал большое собрание старшеклассников и обратился к ним со словами: карьера или служба нации? Его призыв повис в воздухе, остался гласом вопиющего в пустыне.

Закат халуцианства не мог не сказаться и на рабочем движении, которое в течение многих лет было призванным гегемоном израильского общества. В отличие от Советского Союза, где провозглашаемая диктатура пролетариата держалась железом и кровью, еврейская Палестина (а затем и Израиль) была единственной страной в мире, где пролетарская гегемония зиждилась на моральном авторитете класса, служившего нации. Для рабочего движения закат халуцианства имел роковые последствия: утратив свою руководящую идею, оно превратилось в тело, лишенное духа. Есть тысяча и одна причина происшедшего "обвала" на последних выборах, но главная заключается в том, что слово израильского социализма перестало "жечь глаголом сердца людей". Больше того, израильский социализм потерял всякий идейный контакт с народными массами, превратился в объект горькой и ядовитой насмешки.

Есть много людей в рабочих партиях, которые мечтают о возвращении идиллических дней прошлого, есть даже лозунги, зовущие к восстановлению халуцианского режима в стране. "Мечты, мечты, — где ваша сладость?" Это мечты о "поте-

рянном рае", которыми живут люди, обращенные лицом к вчерашнему дню. Надо прокладывать новые пути в завтра, и в этом сегодня задача Израиля.

НА ВОЙНЕ И ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Война 1967 года, длившаяся всего шесть дней, произвела огромные перемены, прежде всего, в духовном облике Израиля.

На второй день после победы народ, вздохнувший свободно, был далек от идей национального превосходства. Начальник Генерального Штаба читал в те дни лекцию в Иерусалимском университете, в которой утверждал, что народ Израиля настолько далек от милитаризма, что даже не способен радоваться победе. Некоторое время спустя по инициативе "группы молодых членов кибуца" была издана книга, называющаяся "Беседа бойцов".

Первыми словами книги были: "Мы не возвратились опьяненные победой". Но вот снова парадокс: Шестидневная война, самая короткая и, быть может, самая легендарная в истории Израиля, вызвала из недр общества и иные силы, иные духи. Угар победы сделал свое дело, и волна национализма охватывала все более широкие слои населения. Это был не тот национализм, о котором когда-то писал А.Д. Гордон: "Страна приобретается жизнью в ней, трудом и творчеством. И таким же образом приобретем и возвратим себе наше право на нашу страну и мы". И далее: "...в той мере, в которой мы будем трудиться, — страна будет нашей, если же нет, не помогут никакие "национальные дома" и никакие "кровь и огонь" (намек на националистический лозунг, гласящий — в крови и огне Иегуда погиб, в крови и огне он будет восстановлен).

До Шестидневной войны никто в Израиле не ставил вопроса о возможности войны за расширение границ. Страна была сильна верой в справедливость своей войны за право на существование. Но все изменилось теперь, когда в руках

Израиля вот уже одиннадцать лет находятся завоеванные территории, которые когда-то принадлежали еврейскому народу. Значительная часть населения поддалась соблазну удержания их на веки вечные, несмотря на то, что они довольно густо заселены арабами. Карты перемешались, и не удивительно, что многие затрудняются отличить национальный лагерь от националистического.

На второй день победы Д. Бен-Гурион, признанный создатель и вождь Израиля, был единственным (а потому и беспредельно одиноким) человеком, который провозгласил: за настоящий мир — возвратить все территории, помимо Иерусалима, а затем и Голанских высот. Биограф Бен-Гуриона (Михал Бен-Зохар) добавляет, говоря о различных вариациях его политической позиции: "...однако его (Бен-Гуриона) основная позиция, по которой надо возвратить подавляющее большинство территорий,— не изменилась, он придерживался ее последовательно до дня своей смерти".

СМЕНА ВЕХ

Ученики Бен-Гуриона от него отвернулись и поставили своей задачей изменение карты Израиля, не говоря уже о националистическом лагере, который всегда стремился к так называемому целостному Израилю. Но было бы ошибкой полагать, что это смешение карт началось только после Шестидневной войны. Задолго до этого, в 1960 году разразилась над Израилем буря, вызвавшая не один политический кризис. Была это так называемая "парша" — "дело". В этой драме главным действующим лицом выступил Секретарь Гистадрута Лавон, занимавший до этого пост министра обороны, а дело это касалось ответственности за провокацию взрыва, произведенного в Египте. Однако, как выяснилось позже, "парша" была только поводом, как бывает часто в истории.

Разразившаяся буря охватила все государство, политические страсти накалились до предела, и результатом была не только смена правительства, но смена вех в госу-

дарстве Израиль. Героический период его истории, олицетворявшийся Бен-Гурионом, пришел к концу. На смену ему пришли серые будни и "мелкие дела". Олицетворял эту эпоху Леви Эшкол, человек благородной умеренности и трезвого компромисса. Идеи, звавшие евреев быть "образцовой нацией", быть достойными продолжателями народа пророков — все это было предано забвению. Израиль вступил в свое "смутное время" — период политических интриг и конфликтов между различными кликами, что и привело к моральной деградации общества.

Если мы приложим ухо к земле и попытаемся уловить подспудные течения, то сумеем понять суть происходящего, а именно то, что национальная революция Израиля выдохлась. Ее высшими точками были национально-освободительная война и массовая Азиатско-Африканская алия, но затем наступил "второй день", и, как во всех революциях, усталость и отрезвление взяли верх. Может быть, следует присовокупить еще одно обстоятельство, остающееся скрытым от внешнего взгляда. Речь идет о вечном противоречии сионизма — между идеалом и действительностью.

Сионизм был всегда силен в своих прогнозах, но очень слаб в своем осуществлении. Всегда над ним висела завеса отчаяния, страна стремилась интегрировать десятки и сотни тысяч людей на пути к созданию идеального общества. И, когда ценой колоссального напряжения этот прыжок был сделан, оказалось, что разрыв между идеалом и действительностью отнюдь не преодолен. Что будет, если он останется в силе, этот разрыв, который, как крот, роет денно и нощно и подкапывается под сами основы сионистской веры?

ДИЛЕММА ИЗРАИЛЯ

Когда мы сегодня спрашиваем себя — куда идет еврейское государство, то снова ключевым является вопрос об алие. От нее, от алии, зависит: останется ли Израиль маленькой левантийской провинцией, вдохновляемой узким национализмом,

или превратится в государство, где национальный гений еврейского народа сольется с общечеловеческим стремлением к высоким нравственным идеалам.

Превращение Израиля в 5—7-миллионное государство в течение ближайших 15—20 лет — вполне осуществимая задача. Для этого нужны две вещи: первое, надо закончить войну, ибо до тех пор, пока продолжается война, ее ведение служит доминантной заботой, и второе — народ Израиля должен обрести идеалы, способные воодушевить его, особенно его молодое поколение на большие дела.

В первую очередь, как сказано, надо кончать войну, и без того затянувшуюся сверх всякой меры. Похоже, что после визита президента Египта в Иерусалим, это стало реально. И возможность мира не должна быть упущена. Однако его не будет, если Израиль захочет удержать в своих руках все или большинство завоеванных территорий. Всякий здравомыслящий человек, даже не искушенный в политике, поймет, что арабы не согласятся на урегулирование, в рамках которого они должны, по своей доброй воле, отдать Израилю завоеванные земли.

Близится час решения, и Израиль должен сделать свой выбор: мир или территории. Только если восторжествует мир, станет возможным бросить все силы на фронт национального строительства, фронт, где решается будущее страны.

Если же говорить об идеалах, о цели Израиля, то этой целью должна стать тройственная революция. Во-первых, революция демографическая, которая в течение ближайших 15—20 лет удвоила бы население. Для этого нужна постоянная алия, равная, примерно, 10 тысячам человек в месяц. И это вполне достижимо. Это и будет перманентной революцией Израиля.

Во-вторых, нужны: лихорадка национального строительства, мобилизация всего молодого поколения еврейского народа — в Израиле и во всем мире — на национальные службы — прокладку дорог, каналов, строительство научных центров и промышленных комбинатов. Эта армия труда могла бы

стать естественным резервом алии новых иммигрантов, для которых страна станет ареной строительства новых форм жизни.

Наконец, в-третьих, нужна культурная революция, которая должна охватить просвещением все население страны. "Народ Книги" должен быть сплошь культурным народом, просвещенным и творческим. Более того, в условиях мира Израиль, вероятно, сможет поставить перед собой задачу, мимо которой проходит западная цивилизация, — добиться новой системы духовных и моральных ценностей, которая преодолевала бы отчужденность человека в современном обществе и помогла бы ему обрести достойное существование.

Надо дать народу Израиля, пребывающему в духовной и политической смуте, цель, направить к ней его усилия, и тогда народ этот будет снова способен на многое.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

КОВЧЕГ

Выходит в Париже. Журнал не провозглашает какой-либо эстетической или идеологической программы, его программа — в самом названии. Произведения современных независимых авторов, живущих в Советском Союзе. Произведения авторов всех эмиграций. Переводы и публицистика.

Журнал редактируют А. Крон и Н. Боков. Цена номера в розничной продаже 12 фр. фр.

Адреса для корреспонденции:
N. Bokov. C,ateau du Moulin de Senlis, 91230 Montgeron, France.
A. Kron. 34, rue Popincourt, 75011 Paris, France

"Сейчас прозвучали б слова чудотворца, чтоб нам умереть и его разбудят, — плотина улиц настежь растворится и с песней на смерть ринутся люди!"

В. Маяковский, поэма "Ленин"

"И оказалось: было чувство локтя Искусством ловко спрятанного когтя".

С. Кирсанов, поэма "Семь дней недели".

Дора ШТУРМАН

ПОБЕДА И КРУШЕНИЕ ЛЕНИНА

1. ИСКУССТВО СПРЯТАННОГО КОГТЯ

Если бы даже его разбудили в те пять ночей и дней, когда тело его лежало в Колонном Зале Дома Союзов, ничего не изменилось бы уже ни в судьбе России и мира, ни в судьбах людей, которые верили и по сей день верят, что изменилось бы.

Он умирал долго, и для людей, окружавших его постель и дом, смерть не была "стопудовой вестью": они ее ждали. Наркомздрав Семашко обмолвится вскоре, что мозг Ленина к моменту смерти и вскрытия превратился в "зеленоватую жижу". Патологоанатом расскажет о склерозированных сосудах мозга, ставших ломкими палочками почти без просветов для тока крови... Чудотворец, которого призывал доверчивый гений, был бы поставлен перед нелегкой задачей: восстановить организм, непоправимо разрушенный задолго до смерти.

Сокращенный журнальный вариант.

Вокруг смерти Ленина долго не возникало в СССР не канонических версий. Шли только смутные и криминальные слухи о скрытии Сталиным какого-то ленинского завещания, о предсмертной ленинской неприязни к Сталину, которые в официальной версии ленинской болезни и смерти ничего не меняли. Но с 1956 года начала мало-помалу проясняться для внутреннего читателя чудовищная свистопляска убийств и "умертвий"(С.-Щедрин), именуемая историей ВКП(б) — КПСС. Поток сенсационных открытий рос. На фоне той историко-уголовной хроники, которой все более явно стал оборачиваться большевистский партийный эпос, должны были появиться и новые версии смерти Ленина. Я говорю о внутренних представлениях, а не о Зарубежье, где все события воспринимались, может быть, иначе. В СССР все знали, что Ленин умер в своей постели и своей смертью. У этих двух прозаических обстоятельств появились после 1956—1961 г.г. крупные недостатки. Во-первых, они были слишком будничны и лишены столь любезной широкому зрителю детективной интриги. На фоне информационного бума 1956 начала 1960 годов это было скучно, а, как известно, все жанры хороши, кроме скучного. Во-вторых, благополучие этой смерти* не отвечало новейшему массовому стереотипу представлений о партийной истории. Новый стереотип советского исторического мышления потребовал противопоставления Ленина Сталину (ленинцев — сталинцам). Возникла властная психологическая потребность в том, чтобы Ленина хотя бы подтолкнул к могиле Сталин, если уж никак нельзя было установить убийство. Как же так: стольких хороших людей убил, а Ленина даже не попытался убить? Неправдоподобно. Новый, трагический вариант советского эпоса потребовал детективной догрузки эпикриза** Ленина: неминуемым стало приобщение его медленного умирания к присущему всей эпохе духу убийства...

---

* Н.Я. Мандельштам в своих воспоминаниях воздала должное счастью умереть своей смертью в своей постели — на фоне страшных смертей миллионов сограждан.

**Эпикриз — выписка из истории болезни умершего.

И вдруг ряд сенсационных публикаций для специалистов и для широкой публики* в который раз доказал иронистам и скептикам, что "глас народа — глас божий".

Сквозь каноническое большевистское евангелие ленинской жизни и смерти начали проступать апокрифы. Ленин часто болеет на протяжении всего 1922 года. На дни, на недели, на месяцы он покидает свой кабинет, иногда — Москву, но не оставляет работы. Точнее — работа ни на минуту внутренне не покидает его. Все, что он пишет и диктует, вплоть до осени 1922 года, создает впечатление, что состояние трудоспособности еще представляется Ленину доминантой его бытия. Перерывы же, связанные с болезнью, он воспринимает как временные помехи, как аномальные отклонения от доминанты. Упоминания о болезненном состоянии, не дающем работать, о невозможности где-либо выступить из-за болезни, об отъездах на отдых и на лечение, перепоручение своих обычных обязанностей и занятий кому-либо из окружающих повторяются из месяца в месяц: в январе, феврале, мае, июле, сентябре 1922 года. Но Ленину все-таки еще непонятно, что это уже не сменяющие друг друга болезни, после которых он каждый раз выздоравливает, а приливы и отливы того бездонного, что скоро накроет и унесет навсегда.

Состояние Ленина резко ухудшилось в декабре 1922 года. 18 декабря Пленум ЦК РКП (б) возложил на Сталина, с которым Ленин в ту пору находился уже в весьма натянутых отношениях, "персональную ответственность за соблюдение режима, установленного врачами для Ленина"**.

С самого начала последней болезни Ленина главным приемом его лечения становится его информационная изоляция, а лицом, держащим в руках все его связи, оказывается Сталин.

---

* Журнал "Вопросы истории КПСС" № 2, 1963; т. 45 ПСС Ленина в 55-ти томах; журнал "Юность" № 12, 1963; отдельные брошюры с последними письмами и статьями Ленина, впервые изданными в 1963 году, и пр.

** ПСС, т. 54, стр. 674, прим. 541.

Есть что-то нечеловечески жуткое в том, что образ жизни, встречи, занятия тяжело заболевшего человека врачи регламентируют в контакте не с его ближайшими родственниками и не с ним самим, еще вполне здравомыслящим, а с некоей организацией и ее агентом, лично больному не симпатичным и с семьей его никакими сердечными узами не связанным.

Наиболее полно все происходящее вокруг Ленина воспроизводит дневник его дежурных секретарей, стенографистки и личного библиотекаря*, начатый 21 ноября утром записью жены Сталина Н.С. Аллилуевой **.

Через четыре дня Н.С. Аллилуева пишет:

25 ноября, утро (запись Н.С. Аллилуевой).

Владимир Ильич нездоров, в кабинете был только пять минут, диктовал по телефону три письма, на которые хотел запросить позднее ответы.

Мария Ильинична (Ульянова) сказала, чтобы его ничем не беспокоить — если сам запросит об ответах — то запросить кого следует. Приема никакого, поручений пока никаких. Есть два пакета от Сталина и Зиновьева — об них ни гу-гу, пока не будет особого распоряжения и разрешения.

Первая половина записи позволяет думать, что слова: " — если сам запросит об ответах — то запросить кого следует", — означают: если Ленин даст дополнительное распоряжение, то надо затребовать ответы на его письма. Но заключительное предложение ("Есть два пакета от Сталина и Зиновьева — об них ни гу-гу, пока не будет особого распоряжения и разрешения".) исключает предположение, что ожидаются распоряжения от самого Ленина: он не может ничего знать о поступающих на его имя пакетах, если "об них ни гу-гу".

Эта маленькая запись говорит о том, что взяты под контроль связи, ведущие к Ленину извне, правда, возможно, пока еще не Сталиным, а врачами.

---

* Ленин, ПСС, т. 45, стр. 457-486.

** Незадолго до этого Ленин защитил Н.С. Аллилуеву от исключения из партии (т. 54, стр.83, письмо № 149). Примечание к этому письму гласит, что Н. Аллилуева была в партии восстановлена, но причины ее исключении в нем не указаны.

Вечером 25 ноября Ленин приходит в свой кабинет, беседует по телефону, принимает А.Д. Цюрупу, дает ряд указаний о распределении подлежащих разбору бумаг между заместителями. Однако все та же Н.С. Аллилуева пишет:

Пакеты не показывала. Но все, очевидно, очень важные. Надо бы посоветоваться с Лидией Александровной об этом.

Допустим, что переписка, поступающая на имя еще работающего, приходящего самостоятельно в кабинет, звонящего по телефонам, принимающего посетителей человека, контролируется из медицинских соображений (непонятно только, почему Сталин, а не, например, наркомздрав Семашко должен помогать врачам в этом вопросе).

Можно предположить, что из тех же соображений ограничивается рабочая нагрузка больного. Но невозможно объяснить медицинскими соображениями следующее: почему статьи, которые Ленин интенсивно диктует в это время для "Правды", "каждый раз публикуются только по специальному разрешению Политбюро. Ленин старается обойти цензуру Политбюро при помощи редактора "Правды" Бухарина и своей сестры Марии Ульяновой, которая работала в ее редакции, но это почти никогда ему не удается".*

Ту линию блокады Ленина, которая ставит под цензуру Политбюро его обращения в партийную прессу, никак нельзя объяснить заботой о его здоровье. Коль скоро Ленин получил разрешение диктовать, — чем угрожала его здоровью публикация продиктованного? Вряд ли необходимость обманывать каждый раз "цензуру Политбюро" укрепляла его душевное равновесие.

Блокада связей, ведущих от Ленина в партийную прессу, могла быть только его сознательной нейтрализацией. И Ленин чувствует эту нейтрализацию. С 15—16 декабря (и далее) в записях секретарей начинает все отчетливей проступать настойчивая забота Ленина о секретности (от кого?) его пере-

---

* А. Авторханов "Происхождение партократии" т. 2, стр. 471. Изд. "Посев" 1973. (разрядка наша).

писки и о конспиративности (по отношению к кому?) его действий, контактов, его участия в текущих делах. Речь здесь явно идет не о стремлении перехитрить врачей:

15 декабря, утро (запись Л.А. Фотиевой).

Звонил в 11 ч. 50 м. Спросил копии вчерашних писем. Вызвал Фотиеву на квартиру и дал написанное им письмо Троцкому, поручив Фотиевой лично переписать его на машинке и отправить, копию же сохранить в запечатанном конверте в секретном архиве. Писать ему очень трудно, оригинал велел уничтожить, однако он сохранен в секретном архиве вместе с копией.

16 декабря, вечер (запись Л.А. Фотиевой).

Звонила Надежда Константиновна, просила от имени Владимира Ильича сообщить Сталину, что выступать на съезде Советов не будет. На вопрос, как себя чувствует Владимир Ильич, сказала, что средне, по внешности ничего, а там сказать трудно. Просила также по его поручению конспиративно позвонить Ярославскому, чтобы записывал речи Бухарина и Пятакова, а по возможности и других на пленуме по вопросу о внешней торговле.

Через пять дней после назначения Сталина "начальником режима" семьи Ульяновых (надзирателем лечащих Ленина медиков и посредником между ними, ЦК и окружением Ленина) Ленин начинает диктовать М.А. Володичевой свое письмо к предстоящему XII съезду.

23 декабря (запись М.А. Володичевой).

В начале 9-го Владимир Ильич вызывал на квартиру. В продолжение 4-х минут диктовал. Чувствовал себя плохо. Были врачи. Перед тем, как начать диктовать, сказал: "Я хочу Вам продиктовать письмо к съезду. Запишите!". Продиктовал быстро, но болезненное состояние его чувствовалось. По окончании спросил, которое число.

24 декабря (запись М.А. Володичевой).

На следующий день (24 декабря) в промежутке от 6 до 8-ми Владимир Ильич опять вызывал. Предупредил о том, что продиктованное вчера (23 декабря) и сегодня (24 декабря) является абсолютно секретным. Подчеркнул это не один раз. Потребовал все, что он диктует, хранить в особом месте под особой ответственностью и считать категорически секретным.

Просьбы и предупреждения о секретности, о тайниках для копий, о конспиративности, об особой ответственности секретарей за секретность и сохранность бумаг создают впечатление, что больным владеет не только чувство отстраненности, изолированности от событий, от управления ими, но и нарастающее ощущение осажденности и опасности. Будь он так

политически и тактически проницателен, как прежде, он бы, разумеется, не тратил времени на эти беспомощные просьбы и предостережения. Его кабинет, его спальня просматривались насквозь и были не менее прозрачны для наблюдателей, чем жалкие обиталища героев Орвелла. Роль зловещего "телескрина" играли те самые секретари, от которых он требует "все, что он диктует, хранить в особом месте под особой ответственностью и считать категорически секретным" (разрядка Володичевой).

Вот более полный рассказ Володичевой*:

"Все статьи и документы, продиктованные В.И. Лениным за период времени с декабря 1922 года (20-е числа) до начала марта 1923 года, переписывались по желанию В.И. Ленина в пяти экземплярах, из которых один он просил оставлять для него, три экземпляра — Надежде Константиновне и один — в свой секретариат (строго секретно). Экземпляр, посылаемый в "Правду", со всеми окончательными поправками и изменениями, перепечатанными начисто, просматривался В.И. Лениным, после чего он передавался Марии Ильиничне. Исправлялись также и те три копии, которые получала Надежда Константиновна. Черновики копий мною сжигались. На запечатанных сургучной печатью конвертах, в которых хранились, по его желанию, копии документов, он просил отмечать, что вскрыть может лишь В.И. Ленин, а после смерти его Надежда Константиновна. Слова: "а после его смерти" на конвертах я не писала"...

Какая загнанность сквозит в этом и сходных распоряжениях Ленина... Он вдруг почувствовал весь ужас перечеркнутости своих личных прав. Зная, как безгранично пренебрежение его партии личностью, ее правами и жизнью, он все же надеется спрятаться от этого пренебрежения за гриф "секретно", за сургуч на рукописи, за сестру, за жену, за своих секретарей, писарей-конвоиров, приставленных к нему тем же ЦК, за свою подпись, вчера всесильную, а сегодня значущую немногим больше, чем каракули сумасшедшего или ребенка.

---

*Примечания 207 к т. 45 ПСС Ленина.

А. Авторханов пишет*:

"В ночь с 22 на 23 декабря у Ленина второй удар — наступает паралич правой руки и ноги. Но того же 23 декабря Ленин, словно предчувствуя приближение конца, просит врачей разрешить ему продиктовать стенографистке в течение пяти минут, так как его "волнует один вопрос". Однако и ЦК, и врачи одинаково не хотели, чтобы Ленин писал. Тогда, по свидетельству сестры Ленина — М. Ульяновой, Ленин предъявил ультиматум: или ему разрешат несколько минут диктовать свой "дневник", или он бросит лечиться. Он получает разрешение и 23 декабря 1922 г. начинает диктовать свое знаменитое "Завещание" ("Письмо к съезду"). 24 декабря после совещания Сталина, Каменева и Бухарина с врачами Политбюро вынуждено подтвердить решение:

1. Ленину разрешается диктовать ежедневно 5—10 минут, но это не должно носить характер переписки, и Ленин на эти записки не должен ждать ответа. Свидания запрещаются.

2. "Ни друзья, ни домашние не должны сообщать Ленину ничего из политической жизни, чтобы этим не давать материала для размышлений и волнений" (Ленин, ПСС, т. 45, стр. 710)".

Чем отличается отказ тяжелейше больного человека лечиться от тюремной голодовки, этого единственно доступного заключенному способа ненасильственного, но непримиримого сопротивления?

Поразительны оба пункта постановления Политбюро, разрешающего ему работать: позволив Ленину диктовать статьи и зная, что диктует он вещи весьма политически злободневные, постановление это приказывает не "сообщать Ленину ничего из политической жизни, чтобы этим не давать материала для размышлений и волнений". Словно опустеет от этого его голова. Словно легче и успокоительней размышлять и писать "о политической жизни", ничего толком о ней не зная!.. Словно не могли они хором заверить его, что, так и быть, уступают ему по всем волнующим его вопросам (а там — как Бог даст)!.. Ведь и разногласий-то было, всего-ничего, если рассуждать принципиально. — Речь-то ведь шла уже не о его возвращении в строй, а о сносной смерти. И второе: ему позволяют диктовать письма, но запрещают получать ответы. Каждый, кому приходилось хоть единожды в жизни писать чрезвычайно важные для себя письма, не получая ответов,

* А. Авторханов, "Происхождение партократии". Т. 2, стр. 17—18. Изд. "Посев". 1973.

способен оценить "целебность" для Ленина этого шага его попечителей. До тех пор, пока Ленин остается сравнительно работоспособным, то есть может еще диктовать, Сталин весьма серьезно занят его блокадой:

30 января (запись Л.А. Фотиевой).

24 января Владимир Ильич вызвал Фотиеву и дал поручение запросить у Дзержинского или Сталина материалы комиссии по грузинскому вопросу и детально их изучить...

...Вчера, 29 января, Сталин звонил, что материалы без Политбюро дать не может.

Спрашивал, не говорю ли я Владимиру Ильичу чего-нибудь лишнего, откуда он в курсе текущих дел? Например, его статья об РКИ указывает, что ему известны некоторые обстоятельства. Ответила — не говорю и не имею никаких оснований думать, что он в курсе дел. Сегодня Владимир Ильич вызывал, чтоб узнать ответ, и сказал, что будет бороться за то, чтоб материалы дали.

Ленин, по-видимому, все более полно и горько осознает свое положение:

1 февраля (запись Л.А. Фотиевой).

Сегодня вызвал Владимир Ильич (в 6½ ч.). Сообщила, что Политбюро разрешило материалы получить. Дал указание, на что обратить внимание и вообще как ими пользоваться. Владимир Ильич сказал: "Если бы я был на свободе (сначала оговорился, а потом повторил, смеясь: если бы был на свободе), то я легко бы все это сделал сам". Предполагалось, что для изучения их понадобится недели 4.

Оговорился? Скорее проговорился. "Смеясь"? Что же ему еще оставалось делать? Пока мог, смеялся. Это было первого февраля 1923 года, а меньше, чем через месяц "Ленин просил у Сталина, при очередном визите, дать ему яд, чтобы отравиться. Об этом факте Сталин доложил на заседании Политбюро в конце февраля 1923 года ".

В начале февраля 1923 года Ленин уже знал, что ЦК цензурирует все его статьи. Ничего существенного, несмотря на блокаду, скрыть от него его окружению не удавалось. А может быть, и не слишком скрывали? Секретари не очень умело разыгрывали верховный сценарий.

3 февраля (запись Л.А. Фотиевой).

Владимир Ильич вызывал в 7 ч. на несколько минут. Спросил, просмотрели ли материалы. Я ответила, что только с внешней стороны и что их оказалось не так много, как мы предполагали. Спросил, был ли

этот вопрос в Политбюро. Я ответила, что не имею права об этом говорить. Спросил: "Вам запрещено говорить именно и специально об этом?" "Нет, вообще я не имею права говорить о текущих делах". "Значит, это текущее дело?" Я поняла, что сделала оплошность. Повторила, что не имею права говорить...

Иногда больной старался верить, что врачи и в самом деле заботятся о его здоровье. Но через несколько дней опять возникают записи, доказывающие, что у Ленина мало иллюзий на этот счет. Не назначения медиков следуют за колебаниями в его самочувствии, а колебания в самочувствии провоцируются этими назначениями.

9 февраля (запись Л.А. Фотиевой).

Утром вызывал Владимир Ильич. Настроение и вид прекрасные. Сказал, что Ферстер* склоняется к тому, чтобы разрешить ему свидания раньше газет. На мое замечание, что это с врачебной точки зрения, кажется, действительно было бы лучше, он задумался и очень серьезно ответил, что, по его мнению, именно с врачебной точки зрения это было бы хуже, т. к. печатный материал прочел и кончено, а свидание вызывает обмен.

Два дня после этого Ленин напряженно работает, диктует, перечитывает, исправляет с помощью секретарей статьи, запрашивает по спискам книги, и вдруг:

12 февраля (запись Л.А. Фотиевой).

Владимиру Ильичу хуже. Сильная головная боль. Вызвал меня на несколько минут. По словам Марии Ильиничны, его расстроили врачи до такой степени, что у него дрожали губы. Ферстер накануне сказал, что ему категорически запрещены газеты, свидания и политическая информация. На вопрос, что он понимает под последним, Ферстер ответил: "Ну, вот, например. Вас интересует вопрос о переписи советских служащих". По-видимому, эта осведомленность врачей расстроила Владимира Ильича. По-видимому, кроме того, у Владимира Ильича создалось впечатление, что не врачи дают указания Центральному Комитету, а Центральный Комитет дал инструкции врачам.

14 февраля (запись Л.А. Фотиевой).

Владимир Ильич вызвал меня в первом часу. Голова не болит. Сказал, что он совершенно здоров. Что болезнь его нервная и такова, что иногда он совершенно бывает здоров, то есть голова совершенно ясна, иногда же ему бывает хуже. Поэтому с его поручениями мы должны торопиться, так как он хочет непременно провести кое-что к съезду и надеется, что сможет. Если же мы затянем и тем загубим дело, то он будет очень и очень недоволен.

* Врач из Германии, специально приглашенный для лечения Ленина.

Поражает недобрая откровенность Ферстера : сообщить больному, что его не следует информировать прежде всего о том, что наиболее его занимает (и даже сказать о чем) — здесь присутствует какой-то нарочитый садизм.

Судя по записям секретарей, нет существенной разницы между состоянием Ленина 9-го февраля, когда ему обещали вот-вот разрешить свидания, а потом газеты (он, естественно, хотел газеты, потому что свидания разворачивались бы по все тому же сталинскому сценарию), и 11 февраля, когда ему вдруг категорически запретили все: и газеты, и свидания, и политическую информацию. С 14 февраля по 5 марта записей нет, а 5 и 6 марта следуют две заключительные записи:

5 марта (запись М.А. Володичевой).

Владимир Ильич вызывал около 12-ти. Просил записать два письма: одно — Троцкому, другое — Сталину; передать первое лично по телефону Троцкому и сообщить ему ответ как можно скорее. Второе пока просил отложить, сказав, что сегодня у него что-то плохо выходит. Чувствовал себя нехорошо.

6 марта (запись М.А. Володичевой).

Спросил об ответе на первое письмо (ответ по телефону застенографирован) . Прочитал второе (Сталину) и просил передать лично и из рук в руки получить ответ. Продиктовал письмо группе Мдивани. Чувствовал себя плохо. Надежда Константиновна просила этого письма Сталину не посылать, что и было сделано в течение 6-го. Но 7-го я сказала, что я должна исполнить распоряжение Владимира Ильича.

Вот эти письма и примечания к ним *: **1923 г**

Л. Д. ТРОЦКОМУ

Строго секретно

Уважаемый тов. Троцкий! Лично

Я просил бы Вас очень взять на себя защиту грузинского дела на ЦК партии. Дело это сейчас находится под "преследованием" Сталина и Дзержинского **, и я не могу положиться на их беспристрастие. Даже совсем напротив. Если бы Вы согласились взять на себя его защиту, то я бы мог быть спокойным. Если Вы почему-нибудь не согласитесь, то верните мне все дело. Я буду считать это признаком Вашего несогласия.

С наилучшим товарищеским приветом Ленин.

Продиктовано по телефону Печатается по машинописной

5 марта 1923 г.

копии

* Ленин, ПСС, Изд. V, т. 54.

** О "грузинском деле" см. ниже.

Это письмо было в тот же день прочитано Л.Д. Троцкому по телефону помощником секретаря СТО и СНК М.А. Володичевой. Троцкий, ссылаясь на болезнь, ответил, что он не может взять на себя такого обязательства.

ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ

Строго секретно
Лично

Копия тт. Каменеву и Зиновьеву

Уважаемый т. Сталин!

Вы имели грубость позвать мою жену к телефону и обругать ее. Хотя она Вам и выразила согласие забыть сказанное, но тем не менее этот факт стал известен через нее же Зиновьеву и Каменеву. Я не намерен забывать так легко то, что против меня сделано, а нечего и говорить, что сделанное против жены я считаю сделанным и против меня. Поэтому прошу Вас взвесить, согласны ли Вы взять сказанное назад и извиниться или предпочитаете порвать между нами отношения.

С уважением Ленин*.

В.И. Ленин имеет в виду следующий факт. После того как В.И. Ленин с разрешения врачей 21 декабря 1922 года продиктовал письмо Л.Д. Троцкому по вопросу о монополии внешней торговли, И.В. Сталин, на которого решением пленума ЦК от 18 декабря была возложена персональная ответственность за соблюдение режима, установленного врачами для Ленина, обругал Крупскую и угрожал ей Контрольной комиссией за то, что она записала под диктовку названное выше письмо. В связи с этим Н.К. Крупская 23 декабря 1922 года направила Л.Б. Каменеву следующее письмо: "Лев Борисович, по поводу коротенького письма, написанного мною под диктовку Влад. Ильича с разрешения врачей, Сталин позволил себе вчера по отношению ко мне грубейшую выходку. Я в партии не один день. За все 30 лет я не слышала ни от одного товарища ни одного грубого слова, интересы партии и Ильича мне не менее дороги, чем Сталину. Сейчас мне нужен максимум самообладания. О чем можно и о чем нельзя говорить с Ильичем, я знаю лучше всякого врача, так как знаю, что его волнует, что нет, и во всяком случае лучше Сталина". Н.К. Крупская просила оградить ее от грубого вмешательства в личную жизнь, недостойной брани и угроз.

"В единогласном решении Контрольной комиссии, — писала далее Крупская, — которой позволяет себе грозить Сталин, я не сомневаюсь, но у меня нет ни сил, ни времени, которые я могла бы тратить на эту глупую склоку. Я тоже живая, и нервы напряжены у меня до крайности. Н. Крупская".

*Ленин, ПСС, т. 54, стр. 329-330.

Н.К. Крупская рассказала об этом факте В.И. Ленину, судя по всему, в начале марта 1923 года. Узнав о происшедшем, В.И. Ленин и продиктовал публикуемый документ.

И.В. Сталин, как писала позднее М.И. Ульянова в своем письме президиуму июльского (1926 год) Объединенного пленума ЦК и ЦКК ВКП (б), на котором одним из лидеров "новой оппозиции" Г.Е. Зиновьевым был поднят этот вопрос, извинился.

Сталинского извинения никто нигде не цитировал и не публиковал. Крупская никогда о нем не свидетельствовала. Характерно, что, не выдержавши обиды и пожаловавшись мужу на Сталина, она потом боится отправки письма, пытается предотвратить ее: муж умирал — она оставалась жить...

После 6 марта 1923 года Ленину становилось то хуже, то несколько лучше, но работоспособность и речь к нему не вернулись, подвижность руки и ноги восстановилась не полностью. В середине января 1924 года, после XIII партконференции Сталин вдруг снял "информационный карантин" вокруг Ленина.

Некоторые авторы — А. Авторханов, Р. Медведев и другие утверждают, что до этого состояние Ленина не было безнадежным, что не исключено было выздоровление и что "не надо быть медиком, чтобы констатировать: кошмарный психологический яд, который Сталин впрыснул в мозг Ленина в виде резолюции январской конференции, ускорил роковую развязку"*.

Для такой констатации все же "надо быть медиком". При всей несомненности тяжких стрессов, которые провоцировались то навязанной Ленину информационной блокадой, то ее снятием, — только врачи могли бы сказать, и то не наверняка, насколько ускорили смертельный исход долгой неизлечимой болезни Ленина эти удары.

Бесспорно одно: с каждым днем болезни непривычная для Ленина горечь бессилия все явственней обретала привкус бесправия.

* А. Авторханов. "Происхождение партократии". Т. 2. Изд. "Посев", 1973 (стр. 131-132).

Ему, вероятно, и в голову не приходило в те горчайшие дни, что погибал он "от самого себя". Прежде всего он собственноручно поставил Сталина между собой и своей "внутренней партией"*, полагая, что по крайней мере до конца его жизни Сталин на большее не позарится. Какое-то время он относился к Сталину чуть ли не с нежностью**:

"Удивлен, что вы отрываете Сталина от отдыха. Сталину надо бы еще отдохнуть не меньше 4 или 6 недель. Возьмите письменное заключение хороших врачей".

"Первое: прошу сообщить, как здоровье Сталина, и заключение врачей об этом..."

"Сообщите фамилию и адрес доктора, лечащего Сталина, и на сколько дней отрывали Сталина..."

"...т. Беленький! У Сталина такая квартира в Кремле, что не дают ему спать (кухня — слышно с раннего утра).

Говорят, Вы взялись перевести его в спокойную квартиру. Прошу Вас сделать это поскорее и написать мне, можете ли это сделать и когда".

"Нельзя ли ускорить освобождение квартиры, намеченной Сталину? Очень прошу Вас сделать это и позвонить мне..."

"Напомните мне завтра, я должен видеться со Сталиным и перед этим по телефону соедините меня с Обухом (доктором) о Сталине..."

Мы привели несколько характерных отрывков из телеграмм и писем Ленина июля-ноября 1921 года***.

И на X, и на XI (апрель 1922 г.) съездах РКП (б) Ленин отводит от Сталина обвинение в том, что тот, как вскоре скажет сам Ленин, "сосредоточил в своих руках необъятную власть".

Вот Преображенский здесь легко бросал, что Сталин в двух комиссариатах. А кто не грешен из нас? Кто не брал нескольких обязанностей сразу? Да и как можно делать иначе? Что мы можем сейчас сделать, чтобы было обеспечено существующее положение в Наркомнаце, чтобы разбираться со всеми туркестанскими, кавказскими и прочими вопросами? Ведь это все политические вопросы! А разрешать эти вопросы необходимо, это — вопросы, которые сотни лет занимали европейские государства, которые в ничтожной доле разрешены в демократических республиках. Мы их разрешаем, и нам нужно, чтобы у нас был человек, к которому любой из представителей наций мог бы пойти и подробно рассказать, в чем дело. Где его разыскать? Я думаю, и Преображенский не мог бы назвать другой кандидатуры, кроме товарища Сталина.

*Дж. Орвелл "1984-й".

** Кстати, Н.К. Крупская в воспоминаниях отмечала, что Ленину были свойственны периоды политической, а значит, и личной "влюбленности" в своих партнеров, причем всегда кратковременные.

*** Ленин. Соч. Изд. IV, Т. 35.

То же относительно Рабкрина. Дело гигантское. Но для того, чтобы уметь обращаться с проверкой, нужно, чтобы во главе стоял человек с авторитетом, иначе мы погрязнем, потонем в мелких интригах*.

Привязанность Ленина к Сталину, сменившаяся отчетливой антипатией лишь в 1922 году, восходит к 1900 годам, когда Сталин руководил знаменитыми "эксами" (или, попросту, грабежами), пополнявшими большевистскую партийную кассу. "Эксы" иногда сопровождались человеческими жертвами, были запрещены двумя съездами еще единой РСДРП и нуждались для своего исполнения в руководителе, готовом на все, кроме, может быть, излишнего риска, для которого в распоряжении Сталина имелся Камо. Оперативность и моральная неразборчивость Сталина в осуществлении "эксов" и привлекла к нему в те годы Ленина.

Властители, нуждающиеся в помощниках, готовых на все, всегда впадают в одну и ту же губительную для них ошибку: они упускают из виду, что человек, способный на все по приказу своего патрона, способен на все также и против своего патрона, если почувствует, что хватка того ослабла.

И право распоряжаться лечением, отдыхом, режимом, связями заболевших цекистов сделал прерогативой ЦК сам Ленин.

т. Молотову
(для членов Политбюро)

"Я сейчас получил 2 письма от Чичерина (от 20 и 22). Он ставит вопрос о том, не следует ли за приличную компенсацию согласиться на маленькие изменения нашей Конституции, именно представительство паразитических элементов в Советах. Сделать это в угоду американцам.

Это предложение Чичерина показывает, по-моему, что его надо ...немедленно отправить в санаторий, всякое попустительство в этом отношении, допущение отсрочки и т.п. будет, по моему мнению, величайшей угрозой для всех переговоров...

*Ленин. Изд. IV, Т. 33, стр. 281-282.

или:

...т. Молотову для всех членов Политбюро:

Это и следующее письмо Чичерина явно доказывают, что он болен и сильно. Мы будем дураками, если тотчас и насильно не сошлем его в санаторий.

В другом письме на имя того же Молотова (для Оргбюро и Политбюро ЦК) от 12.1.1922 г. Ленин предлагает:

"1. Назначить по соглашению с Наркомздравом одного или двух врачей, чтобы периодически осматривать Сокольникова, Цюрупу и других, вернувшихся с лечения товарищей, поручив им письменно давать заключение о необходимом режиме. Ответственность возложить на этого врача лично. Обязать его давать коротенькую рапортичку в Секретариат ЦК или, если на это согласен Секретариат ЦК, то в Секретариат СНК.

2. Возложить на какое-либо определенное лицо ответственность за наблюдение за исполнением режима Сокольниковым..."*

Кстати, письма Чичерина не заключали в себе ни малейших следов психической или умственной аномалии и нервного срыва и не устраивали Ленина исключительно только демократичностью занимаемой тем позиции. Но и последний, вполне благожелательный документ (о Цюрупе) в качестве прецедента не так уж и безопасен, в особенности строки насчет режима. Да и вообще вся постановка вопроса в целом не безобидна, как доказала судьба самого Ленина.

Когда я пытаюсь себе объяснить, почему цекисты состава 1922—24 годов так легко и охотно сделали Сталина "начальником режима" больного Ленина, я нахожу этому только одно объяснение: в глубине своих душ, затаенно, молча и согласованно они не любили не только Сталина, но и Ленина. И оказались к нему во время его болезни совершенно безжалостными. Почему они не любили Кобу, это понятно: он был человеком несимпатичным, он явно двигался к власти и проявлял необходимые для овладения оной качества, каковых не было ни у кого из них. Несмотря на его очевидное продвижение к власти, они, как и Ленин, недостаточно его опасались: они считали себя вождями, так сказать, легитимными, а его — "парвеню"; себя — интеллектуальной элитой партии, а его — посредственностью, плебеем. Они полагали, что избавятся от него, когда придет время.

* Ленин, ПСС Изд. V, Т. 54, стр. 110-111.

Но почему они так не любили Ленина, права которого быть их вождем они под сомнение вроде бы и не ставили?

Мы подчеркнули "так", потому что надо было очень его не любить, чтобы отдать его под опеку Сталина, прекрасно зная, что сейчас Ленину этот выбор особенно неприятен. В 1922—24 годах безысходной необходимости поддерживать Сталина у них еще не было. Они еще действовали по своей воле. Одну из причин этого я вижу в следующем. Люди не прощают, как правило, тем, за кем они почему-либо идут, пренебрежения их достоинством, тщеславием, честолюбием, гордостью. А Ленин в других этих чувств не щадил. Он был непревзойденным мастером завоевания власти партией, в которой отводил себе первое место. И отводил по праву: он, действительно, почти всегда знал лучше других в своем окружении, что следует делать, чтобы его партия захватила и удержала необъятную власть. Его изначальное партийное кредо: "твердая рука" и единовластие, и, конечно же, его, а не чьи-то. Приятно ли быть всегда под "твердой рукой" и признавать над собой "единовластие" ее обладателя, даже в интересах победы всей "пирамиды"?

В 1900 годах, когда Ленин еще только сколачивал партию "нового типа", он уже боролся на два фронта: против мартовцев, "меньшевиков" и против неустойчивых "большевиков" в собственном лагере. Во главе последних стоит бесхарактерный секретарь ЦК, старый товарищ Ленина Г.М. Кржижановский, он же "Клэр", "Брут", "Лань", "Смит" и др.

Тон ленинских писем из эмиграции в большевистский ЦК, действующий в России, чаще всего приказной. Никаких сомнений в этом праве — приказывать — у автора писем нет:

ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ

30.XП.03.

...Обсудите дело это толком и отвечайте же, наконец, о мнении каждого (непременно каждого) члена Центрального Комитета.

С листками ко мне не приставайте: я не машина, и при теперешнем безобразном положении работать не могу*.

Направлено из Женевы в Россию.

И еще более резко и грубо:

Г.М. КРЖИЖАНОВСКОМУ

"4.1.04. Пишет Старик. Сейчас только получил письмо Лани с ответом на мое письмо от 10.XII и отвечаю немедленно. Меня-то нечего просить о критике взглядов Лани! Я прямо скажу, что взбешен я робостью и наивностью Лани до чертиков...

Обязательно все вести не иначе как через заграничного представителя Центрального Комитета. Ей-богу, это необходимо, если не хочешь архискандала. Надо заявить раз навсегда... что за границей есть полномочный представитель ЦК и больше никаких", —

— пишет Ленин, имея в виду в качестве "заграничного представителя ЦК" себя самого.

И далее:

..."Если у тебя в письме... не нашлось ни единого слова протеста против пакостей... о бюрократическом формализме и проч., — тогда я должен сказать, что мы перестали понимать друг друга. Я тогда умолкаю и выступаю как частный писатель против этих пакостей. Я этих господ назову истерическими пролазами", —

— мечет Ленин громы и молнии в ЦК, который не поспешил отвести от него обвинения в диктаторстве. И продолжает:

..."Не умнее ли будет писать письма прямо этим хозяевам, чем проливать пустые слезы в жилет тряпичной Мартуше? Попробуй-ка, напиши, это тебя отрезвит! А пока не написал им и не получил самолично от них плевка в рожу, до тех пор не приставай к нам (или к ним) с "миром". Мы-то здесь ясно видим, кто болтает и кто верховодит у мартовцев!.."**

А "верховодить" должен только он, Ленин. И кто этого не примет, тот с ним не останется.

Я не ради восстановления истории партии привожу эти отрывки. В них, как и во многих сходных, отношение молодого и еще недостаточно сдержанного "Старика" (партийная кличка Ленина) к идущим за ним людям выступает откровенно и непосредственно.

Позднее он научится собой владеть и не всегда будет выражать свое настроение так однозначно. Высокомерие, властность, безапелляционность, сквозящие в этих письмах, изначально повлекли за ним только тех, кто признал его твердую

* Ленин. Соч. Изд. IV, Т. 34, стр. 183.

** Ленин. ПСС Изд. IV, Т. 34, стр. 186-188.

волю и руку как гарантию будущей общей власти. Но эти личные качества никак не могли внушить "ведомым", помимо профессионального уважения, еще и любовь к ведущему. Их самолюбие не могло постоянно не уязвляться и таким его неизменным и ярким свойством, как несклонность мерить других и себя единой мерой.

Для других фракционность — смертельный грех, а себя он не разрешает "запугивать глупеньким словечком фракционность". Для других требование отставки — это "мелкобуржуазная истерика" и пренебрежение партийным долгом, он же, идя один чуть ли не против всего ЦК, умело и своевременно шантажирует тех, кого следует, угрозой отставки. Для других антицекистская пропаганда в партийных массах — это измена общему делу. Он же оставляет за собой право в случае непринятия очередного его ультиматума, предъявленного им Центральному Комитету, выйти из всех руководящих органов партии и продолжить борьбу за свою программу в партийных массах.

Когда же на XI съезде РКП (б) заикаются о том же лидеры РОПП, он гневно предупреждает их: "...если партия вам позволит!" И несколько раз бросает угрожающие реплики о винтовках и пулеметах, которые будут противопоставлены тем, кто, игнорируя волю ЦК и съезда, обратится к "низам партии". Таких примеров бессчетное множество.

Его приближенные знали его характер, его манеру руководить, его повседневную деловую этику куда лучше, чем те, для кого они же сфабриковали его расхожий иконно-плакатный образ. В 11 томе Сочинений Сталина в статье "Группа Бухарина и правый уклон в нашей партии" помещен следующий занимательный диалог:

"Сталин: ...Говорят, что Ленин наверняка поступил бы мягче, чем поступает теперь ЦК в отношении Томского и Бухарина. Это совершенно неверно. ...Как поступал Ленин в таких случаях, — припомните-ка. Разве не помните, что товарищ Ленин из-за одной маленькой ошибки со стороны Томского угнал его в Туркестан.

Томский: При благосклонном содействии Зиновьева и отчасти твоем.

Сталин: Если ты хочешь сказать, что Ленина можно было убедить в чем-нибудь, в чем он сам не был убежден, то это может вызвать лишь смех..."

Они еще и "на ты", и спорят на равных, но против этого замечания Сталина никто не возражает.

А это-адресованная Осинскому ядовитая реплика Зиновьева на XП съезде РКП (б):

"Т. Осинский говорил, что позволено Ленину, то не позволено кому-нибудь другому. Само собой разумеется, Осинский сказал, когда Ленин сечет, это еще куда ни шло. Вполне разделяю его вкусы: уж сечься, так сечься у мастера..."

Я не говорю о цинизме, с которым люто друг с другом враждующие представители верховной партийной власти спорят о том, кем лучше быть высеченным. Шут с ними и с палаческим душком их шуточек. Но и в реплике Сталина, и в издевочке Зиновьева, — не слишком-то много любви к Ленину — к человеку, которого ни в чем нельзя было убедить, к виртуозу публичной словесной порки.

Обладающие уймой малоприятных, а иные, как Сталин, и чудовищных качеств, они в достаточной мере любили себя, чтобы Ленина не любить...

Искусство быть сильней всех остальных в этом кругу и способность при этом вызывать симпатию и человеческую привязанность окружающих редко даются человеку одновременно.

Сочетание лидерского искусства со способностью вызывать любовь "ведомых" предопределяется иногда масштабами актерского и демагогического дарования лидера. Много реже оно обусловливается неподдельным сознанием собственных человеческих слабостей и недостатков, естественной внутренней демократичностью, гуманностью лидера. Ленин этими свойствами не обладал. Его личное отношение к человеку зависело, в решающей степени, от того, в какой мере последний разделял его сиюминутные политические представления и намерения.

Постоянные колебания в публичных характеристиках коллег по партии — в интервале от: "Иудушка — Троцкий" до: "Этот выдающийся деятель нашей партии" — были для него естественными и повседневными, но вряд ли забывались обиженными легко и полностью. Он слишком редко снисходил до актерства перед лицом "ведомых", чтобы скрыть свое органическое высокомерие, свою природную жестокость, свою склонность манипулировать лицами и любыми количествами лиц как политическими абстракциями.

Приняв эту точку зрения, перестаешь удивляться тому, что ленинские "гвардейцы"* уступили больного Ленина Сталину со скрытым, подспудным, — отчасти, может быть, маскируемым и от самих себя — злорадством. И наблюдали неравное состязание умирающего с набирающим силу их грядущим убийцей со смешанным чувством любопытства, некоторого сострадания и... реванша. Иначе ничто не помешало бы им облегчить последние месяцы жизни Ленина дружбой, участием и привычным для него повиновением его советам.

В отношениях же между ними и Сталиным, как мы уже говорили, господствовало в 1923 году ошибочное ощущение не только равенства, но и превосходства — их, разумеется, превосходства: в культуре, в красноречии, в партийном престиже, в интеллектуальных способностях — мало ли в чем? Им, должно быть, еще казалось, что уж его-то они в нужный момент наверняка осадят и поставят на место. Это — с одной стороны. А с другой, — он поднимался по цекистской лесенке, прибирая к рукам одну ведущую нить за другой, так ловко, умело и с такой неуклонностью, что они вроде бы согласились без лишних дебатов перебыть за его спиной то смутное время, пока партия справится с утратой Ленина. Они полагали, что смогут сами определить это время. Они почувствовали в нем тактическую сноровку, почувствовали сильную волю, не скованную никакими сентиментальными

---

* В том числе и Бухарин, и Троцкий, позднее достаточно много писавшие и говорившие о своей верности Ленину. Ни один, ни другой не совершили и слабой попытки изменить положение Ленина в конце 1922 начале 1924 года. А уклончивый отказ Троцкого принять протянутую Лениным руку мы уже проиллюстрировали документально.

соображениями, — а ведь они привыкли уже иметь над собой и такую сноровку, и такую волю...

Они перешли к Сталину от Ленина по наследству — как вся страна. Но и Сталина они получили в наследство от Ленина.

Окончание в следующем номере.

"РУССКАЯ МЫСЛЬ"
"LAPENSEE RUSSE"

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЗИНАИДА ШАХОВСКАЯ

Еженедельная газета "Русская Мысль" публикует широкий и объективный обзор мировой и советской политики и жизни в разных странах, помещает статьи на религиозные, философские, научные и литературные темы, пишет о достижениях культуры в эмиграции, сообщает о выставках, спектаклях, новых книгах и журналах.

С началом третьей эмиграции из Советского Союза "Русская Мысль" открыла свои страницы новым авторам, стала связующим печатным органом между диссидентами и живыми силами эмиграции. Газета систематически публикует документы Самиздата и свидетельства новейших эмигрантов, давая тем самым богатый материал социологам и историкам разных стран, интересующимся проблемами прошлого, настоящего и будущего России и Советского Союза.

Выходя в Париже, "Русская Мысль" откликается и на самые яркие и интересные события в "городе-светоче".

"Русская Мысль" прибывает в Израиль авиапочтой.
Распространитель: "Атлас", ул, Членов, 49, Тель-Авив.
Цена в розничной продаже - 6 лир. Газета продается в магазинах русской книги и киосках страны.

Виктор ПЕРЕЛЬМАН

"ПОКИНУТАЯ РОССИЯ"

АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ В ДВУХ КНИГАХ

"ИЛЛЮЗИИ" и "КРУШЕНИЕ"

Автор — журналист и писатель, в прошлом корреспондент Московского Радио, фельетонист газеты "Труд", заведующий отделом и специальный корреспондент "Литературной газеты" — рассказывает о своем жизненном пути в Советском Союзе, о преодолении им коммунистической идеологии, о нравах, царящих в советской журналистике и литературе.

Автобиографическое повествование "Покинутая Россия" удостоено второй премии Иерусалимского Университета.

Стоимость каждой из двух книг в Израиле: в магазине — 48 лир. при одновременной покупке первой и второй книги — 90 лир. При заказе в редакции, соответственно — 42 лиры и 80 лир.

Стоимость каждой из двух книг за границей — 3 доллара.

Заказы принимаются по адресу: Улица Нахмани, 62. Тель-Авив, издательство "Время и мы".' К заказу должен быть приложен чек и в нем указан адрес, по которому высылать книгу.

Елена КЛЕПИКОВА

ПРОЛОГ К ДЕЙСТВИЮ*

(русская партия и поэзия)

АВТОРСКОЕ ВЫНУЖДЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ

Сижу в публичной библиотеке, передо мной — настоящий горный обвал новехоньких, даже непочатых книжек (какой интеллигент раскроет подобную умственную непристойность!) — наскоро сфабрикованных, невзрачно официальных, скоропостижно — часто без корректорской правки! — выпущенных. Выделяются своим аляповатым глянцем поэтические обоймы издательства "Современник" с его воистину устрашающей кошачьей плодовитостью (это при государственной прижимистости на бумагу в любом, более культурном издательстве).

Из-под зловещной этой поэтической кучи даже "городской привычный житель" вряд ли извлечет одну-две-три книжки за год, которые и в самом деле можно приписать к исконной

* Эта статья является продолжением напечатанной в № 24 нашего журнала статьи того же автора "Земля Иванов да Емель".

поэтической вотчине. Недаром интеллигент воротит нос от этой бесплодной поэтической непристойности.

И я в отчаянье думаю: зачем ковыряюсь в этом дерьме, да и оно-то с явными признаками разложения: в этой умственной и нравственной похабщине, зачем вникаю в их поэтическое дебильство, в эту идейную порнографию, бледную немочь победоносной бездарности, зачем вступаю — без их приглашения и еще без насилия — в эту зыбучую сортирную вотчину официальной советской поэзии, оккупированную Русской партией?

И тут же осекаюсь:

надо вступать, жизненно необходимо — интересоваться, вникать и знать все перипетии и перестановки маскарадных тенет на этой поэтико-политической площадке!

Человеку потребно знать, где он живет — хотя бы для правильной ориентировки в местности, потому что спасительная иллюзия — вместо грозной реальности неизбежно порождает соответствующее искажение русла, по которому течет наша мысль, сколь бы независима от реальности она ни была. Отсюда парадокс того же Солженицына: не менее других пострадавший от тоталитаризма, он, однако, настаивает на монархическом его варианте в своей политической программе. И дело здесь не только в том, что будущее России Солженицын пытается извлечь из ее прошлого, но прежде всего в том, что и настоящее он воспринимает тенденциозно, умышленно и иллюзорно, противопоставляя официальной идеологии — вроде бы оппозиционную, а по сути — во сто крат усиливающую и заостряющую четкие лозунги авторитарного государства.

Ставка Солженицына на Русскую партию, если даже не спекулятивна, — все равно опасна: своим авторитетом он освящает самые зловещие идеи, бытующие сейчас в русских неприхотливых умах. Зловещие — не только для России...

Надо, надо освещать затемненную, притаенную местность, где мы живем или вынуждены жить элементарным ясным светом рассудка, надо точно различать свою жизненную ок-

рестность. Позиция Архимеда, убитого римским легионером за чертежами, для меня, к примеру, нравственно неприемлема.

Надо знать, куда прет, чего тебе готовит окрестный мир, который и тебя, с твоим гордым, надменным либо принципиальным противостоянием — неизбежно зацепит, ухватит и растопчет. История назойливо убеждает, что привычные во все времена бандитских налетов интеллигентские убежища — башни из слоновой кости — глумливо осаждались и изуверски сметались невежественной и ликующей ордой дикарей-соотечественников!

И эта орда жизнерадостных русичей с их каменеющей в упорстве идеологией — уже давно копит боевые резервы, неустанно производит дислокацию поэтических войск и уже выставляет в условленных местах свои аванпосты.

Вот статистические данные:

Русской партией (или русистами, славянофилами, русофилами...) полностью оккупированы:

Издательства столичные — "Современник", "Молодая гвардия", "Московский рабочий", "Советская Россия", "Библиотечка" и журнал "Огонек", Военное издательство Министерства обороны СССР.

Издательства периферийные — Лениздат (Ленинград), "Западно-Сибирское книжное издательство" (Новосибирск), "Северо-Западное книжное издательство" (Архангельск), "Южно-Уральское книжное издательство" (Челябинск), "Приокское книжное издательство"(Саратов), "Ставропольское книжное издательство" и т.д.

Альманахи — "Кубань", "Сибирь", "Енисей", "Ставрополь" и т.д.

Журналы столичные — "Наш современник", "Молодая гвардия", "Москва","Театральная жизнь".

Журналы периферийные — "Аврора", "Волга", "Сибирские огни", "Дон", "Урал", "Подъем".

В этот список не вошли издательства и журналы, на которые уже ведется планомерное и неудержимое наступление Русской партии, и потому они находятся в процессе структурной и идейной перестройки — и перестройки капитальнейшей. Укажу пример: ленинградский журнал "Звезда" сейчас уже с трудом поддерживает свою исконно либеральную, прогрессивную репутацию, отдав отдел поэзии в руки отъявленного русофила Сергея Макарова. Думаю, что и на других, уже немногих печатных площадках, свободных пока от постоя этой нетерпеливой и агрессивной братии, ведется сейчас упорное наступление, готовится изморная осада, которая неизбежно кончится победой этого монолитного идейного клана.

Куда пойти изгою-интеллигенту, особенно еврею, которого с порога, даже не заглядывая в паспорт, по одним лишь этническим приметам единодушно отвергнет, к примеру, издательство "Современник", наводняющее своей эфемерной продукцией оскудевшие за последние годы книжные прилавки? Того самого, кстати, интеллигента, коего Солженицын, в противовес народу, а по сути — идеологам Русской партии — презрительно нарек "образованщиной". Что верно — то верно: эта кличка никак не подходит к героям моей статьи и их покровителям: хотя бы по образовательному цензу, который у них катастрофически низок — дальше, то бишь, ниже — некуда!

Итак: ими оккупированы издательства, журналы и прочие печатные площадки; ими занимаются московские квартиры от уехавших диссидентов, отказников и евреев; ими заполняются бланки на вновь поступивших в Союз писателей; им щедро, почти назойливо, почти искательно — даются премии самого разного калибра: союзные, республиканские, цэкакомсомольские и прочие; они вопиюще бездарны в своей воинствующей массе и потому не знают препятствий ни нравственного, ни эстетического толка.

ОНИ И МЫ

Пока — слова.
Пока что — слова.
А впрочем...

Требовал же когда-то Владимир Маяковский, чтобы его стих приравняли ни более ни менее как к штыку...

А "мы" что — хуже?

Держу перо, как пистолет гусарский...

* * *

К тебе звучать желая слитно,
Стучусь я словом, как прикладом...

* * *

В ответ бы пулей бросить фразу...

Здесь как нельзя кстати теория козла отпущения, ибо даже внутренние враги рассматриваются все-таки как внешние: хотя и в России, но — не русские!

Теория слишком знакомая, чтобы быть оригинальной. От кого все беды, как не от "зловредных козней внутренних врагов, преимущественно иноверцев, стремящихся превратить святую православную Русь в космополитическую страну с западноевропейским парламентаризмом, с анархией автономных окраин и с господством чужих племен над русским населением". Вот ведь как прежде писать было позволено, а сейчас наши черносотенцы зажаты в тиски советской цензуры и страдают от нее ничуть не меньше либералов и диссидентов.

Как тут не вспомнить слова Ленина, справедливые, увы, на все наши поэтические направления и на любые времена: "Проклятая пора эзоповских речей..." Нет чтобы по-нашенски, по-русски, прямым текстом — "Бей жидов, спасай Россию", так крутись, как белка в колесе, выискивая разные там эвфемизмы и заменители.

Невтерпеж...

Короче, проблематика — любая! — современной жизни отвергается с порога, как мнимая, навязанная врагом. Скажем — отцы и дети:

Говорят: "Проблема", "Вечный спор...",
Об отцах и детях спорим все мы...
Жизнь опровергает этот вздор —
Нет ее, надуманной проблемы.

А факты?

Так тем хуже для фактов!

Тем более, в наших руках аргумент безупречный, хотя и диковинный: "Кровь одну поссорить невозможно".

Враги — другой крови! Козел отпущения найден и четко обозначен: избавиться от него — значит избавиться от всех проблем. Как рукой снимет! Марксистский тезис об отсутствии социального антагонизма в социалистическом обществе заменен расистским: об отсутствии антагонизма в русском обществе, ежели из него изъять иноверцев — старая терминология, а по новой — космополитов.

Проще — жидов.

В плане литературном генетические корни этой внутреннекровной гармонии уходят в знаменитую теорию бесконфликтности.

Впрочем, более прозорливые либо чересчур неистовые стихотворцы Русской партии проговариваются и идиллию нарушают.

Выясняется:

"Я тебе, а ты — мне!"
Шу-шу-шукаются гады.
Есть у них страна в стране,
В беспорядке — свой порядок.

Строфа эта принадлежит знаменитому оппоненту Евгения Евтушенко по вопросу о Бабьем Яре и антисемитизме — так что двух мнений о том, кто назван "гадами", быть не может. Однако поражает не столько площадная ругань, сколько откровенность, противоположная великодержавной спеси: страна в стране, то есть — разъяснено не нами, а самим поэтом! — порядок в беспорядке. Гармония на поверку оказывается подкрашенным фасадом, а за ним — бардак, хаос. Содом и Гоморра! Будь наш автор поискуснее да поталантливее, он бы, конечно, так не обмолвился...

Грешным делом, я предполагаю, что все началось с литературной борьбы, когда менее известные возроптали на более известных из-за элементарной зависти.

Но очень скоро литературные распри переходят в политическую борьбу, а стихи сочиняются в жанре доноса. За словом наши поэты в карман не полезут, в выражениях не стесняются, личных врагов по доброй советской традиции легко зачисляют во "врагов народа" и именуют их такими сочными кличками, как "гниль", "морды", "бобики", "гады", "гнус", "иуда", "мразь", "слизь", "сволота" и так далее.

Поразительно легки эти подмены: личный враг является врагом родины. Цепкий инстинкт самосохранения камуфлируется — или сублимируется? — не более и не менее как в патриотизм.

При такой идейной раскладке больше всего, естественно, достается критикам: посягнуть на поэта имярек, значит посягнуть на святая святых каждого советского человека — Родину. Один из стихотворцев так и озаглавливает свое послание Зоилам — "Ниспровергателям". Другой, обращаясь к своему рецензенту в аналогичном стихотворении с аналогичным названием "Отрицатель", решительно заявляет:

Строчки, как стручки тряся сухие,
Кажет враг критическую прыть.
Я сейчас от имени России
Крепко с ним хочу поговорить.

Кстати, приведенная строфа взята из сборника с характерным названием — "Развернутым фронтом". Так они и выступают — и наступают: сначала на литературу, потом на страну!

Цепь замкнулась: критик — зоил — ниспровергатель — нигилист — космополит — враг народа.

В конце концов, армия наших поэтов убедила в этом тождестве и наших политических вождей...

Из локальной и все-таки провинциальной, второсортной области литературы — в бескрайние пределы мировой политики, где внутренние враги приравнены к врагам внешним.

Я на склонах страны
для врагов —
атакующий сокол.
А в долинах Отчизны —
нещадно разящий
орел!

Так что еще неизвестно, кому из врагов — при подобной орнитологической раскладке — опаснее жить на белом свете: внутреннему либо внешнему.

Несдобровать — обоим!

Нет, нельзя со всеми быть хорошим
И метаться между двух знамен.
Есть борьба. И это непреложно.
Мир, как прежде, четко разделен.

Куда уж четче!

Здесь, конечно, возможны индивидуальные отличия: кому что нравно! Или даже более существенно: один монархист, а другой — сталинист. Мы же пишем групповой портрет армии поэтов из Русской партии, как в свое время Рембрандт живописал стрелков капитана Франса Кока всех разом. Пусть один любит Сталина, а другой Ивана Грозного, но все одинаково ненавидят западную демократию, евреев, Петра Великого и так далее.

Не индивидуальные отличия нас интересуют, но племенные, родовые, этнические, национальные — говорим языком наших поэтов, ибо они ощущают себя общностью, коллективом, родовым кланом, спаянным не только идеологически и территориально ("земляки"), но и кровно. Отсюда риторический вопрос, в котором сквозит законное негодование внутренним врагом, который теснит нас в нашей же стране:

По скрещениям былей и сказок мы выйдем к рассвету, —
Разве мы не хозяева в нашей бессмертной стране?

Это — типичный хулиганский разнузданный выпад с надежным ощущением за плечами — братского клана единомышленников. В исповедальной горячке поэт "выдает" ловкий стратегический маневр своей партии, головокружительный скачок от умиленных патриархальных стилизаций — к великодержавным угрозам.

Да они и не сомневаются в своем историческом мессианстве, ибо пробил час.

Мы выражаем
Данный Час
России —
И это
упоительней всего!

Но вот выделяется из слитного сообщества клокочущее от ненависти "я", буйный громила, не вынесший тактической уклончивости и дипломатических ходов в стихе с программным названием "Агрессивность":

Иду вперед, ворочая каменья,
иду вперед, корчуя сорняки,
разгневанный до белого каленья
на тех, что, как пустые сундуки,
в углах напрасно занимая место,
своим лишь теплым местом дорожат...

К сожалению, статистика наша, даже подпольная, самиздатская, брезгает этой взрывчатой средой, надеясь, очевидно, что они, как арабские государства-нувориши, перебьют, перегрызут и растерзают друг друга. Но ведь российская история всегда давала свои непредсказуемые коленца, и даже африканская свирепость не годится здесь в уподобление за примитивностью. Зловеща эта слитная армия безумцев, громил и маньяков с их железобетонной идеологией. Един у них исход — от крестного хода до черносотенного погрома:

И хоругви не помогут, если
враг штурмует крепость изнутри.
Хочет над Москвой и Ленинградом
Утреннее солнце умертвить.
Хочет скептицизма древним ядом
Кровь славянской песни отравить.
Разрушая храмов древних чудо,
Саксофон подняв трубой в бою,
Ныне новоявленный иуда
Топчет землю русскую мою.

Всюду нашим поэтам чудятся враги разного калибра — и нет от них спасения и убежища. Что поэтический клан, когда в родной стране они не чувствуют себя хозяевами: какая уж тут поэзия. Весь мир угрожающе ощетинился против них злобой и ненавистью, а их аналогичные чувства, выходит, — ответные. Они так изощрили свой изобличающий аппарат, что их организм выдвинул навстречу защитной потребности — новый орган: интуитивное и маниакальное распознание врага.

Эмоциональные градации здесь бесконечны — от желчно-судорожной до мстительно-агрессивной: в зависимости от поэтического темперамента, настроенческого тонуса и уровня обид. Впрочем, любые резкости оправданы, ибо этой смертельной борьбе придан сугубо идеологический характер государственного мероприятия и соответствующего размаха.

Отсюда спекулятивные реминисценции из эпохи гражданской войны, когда не слово звучало, как выстрел, но выстрел заменял слово. А слов нашим поэтам и в самом деле недостаточно: не только из-за удручающей их бездарности, но и по болезненному напряжению в них злобы, для которой слово — будь оно трижды талантливым! — недостаточно.

Поэтому, читая стихи, мы вынуждены сделать двойную поправку, учитывая к тому же скованность поэта цензурными и этикетными приличиями, а главное, что стихи — не более как слабый отблеск ураганной бушующей страсти, отдаленное ее эхо, приглушенная и вынужденная сублимация — а подтекст на самом деле весомее, тяжелее и прямее, чем это выходит на поверхность стиха, в умиротворяющем обрамлении рифм.

И отдадим должное редким представителям этой армии поэтов, сумевшим прорвать цензурные заграждения нашей печати и звучащим в полный голос — адекватно обуреваемой их страсти.

Вот один из них, к примеру, прослышав очередной из бесконечной серии анекдотов про Чапаева, поначалу предлагает заткнуть рот анекдотчику, затем призывает к рукопашной расправе над сквернословами и, наконец, мечтает о чудодейственном, наподобие Лазарева, воскрешении героя гражданской войны — с тем только, чтобы он порубил легендарной своей шашкой не только анекдотчиков, но и их гнездовья с их змеенышами, чтобы уничтожить крамолу в зародыше.

Впрочем — зачем цитаты, когда можно составить нехитрый и наглядный сюжетик из одних только красноречивых названий их сборников, сюжетик, с плакатной резкостью проясняющий агрессивную, воинственную направленность их братского, их кровного, их идеологического союза: "Мы", "Братина", "Узы", "Приверженность", "Иваны России', "Отечество"... и "Развернутым фронтом", "Сердце и меч", "Закаляющим сталь", "Век стали и нежности", "Рубежи", "Рубеж", "На рубеже", "Клятва", "Размах", "Клик", "Атака", "Война", "Красное смещение".

Есть среди наших поэтов случаи прямо клинические, но они как раз и характерны, потому что со всей очевидностью выявляют то, что у других покуда скрыто — до поры до времени. И мы имеем возможность благодаря этой исступленной патологической откровенности понять что к чему и, вылущивая зерна факта из бездарных виршей, понять, наконец, чего же добиваются наши косноязычные поэты.

Вот стихи одного из них — реестр симптомов, которые психоаналитику показались бы безупречными: исповедания мнительного человека на грани духовного распада — белая горячка, но на скору руку зарифмованная, неврастеническая исповедь холерического толка с проклятиями и выкриками, с судорожной ненавистью и слезными жалобами, с мрачными эсхатологическими видениями и враждебными призраками — болезненная квинтэссенция обреченности и ненависти:

Прекраснее, ответчивее сердце,
И мы идем сквозь адовы круги:
Сначала оскорбят единоверцы,
Потом вершат возмездие враги.
И если наших близких склока душит,
Я не могу отречься от вины,
Когда в тебе шевелятся их души —
Щенки братоубийственной войны...
Без паники, без злобы, без укора,
Под вещий зов:
— Пора!
— Пора!
— Пора! —

...Врачующим сиянием объято.
Ты всходишь, состраданье не тая.
И коли ты озлобишься, то свята
Жестокость величавая твоя!

* * *

...Я вскидывал горячее ружье.
Я целился, я чувствовал, я видел
И понимал, и принимал всерьез
И тех, кто нагло душу разобидел.
И тех, что скрытно раны ей нанес!

И так — из сборника в сборник — навязчивые идеи, алчущие немедленного осуществления, горячечный бред, жуткие галлюцинации, опасные для окружающих, затравленная мнительность, рождающая превентивную агрессию — типичная паранойя и в острой форме.

Мне скажут — такому поэту место в сумасшедшем доме. Я отвечу:

— в сумасшедшем доме сидят другие поэты, прозаики и журналисты, а этот — главный редактор издательства "Современник", основного рассадника подобных умонастроений — пусть исступленных, пусть параноических, но все более открыто и откровенно проповедуемых.

Впрочем, патологические отклонения от психологической нормы в сторону агрессивно-бредово-маниакального состояния мы находим чуть ли не у каждого второго из армии наших поэтов.

Поразительно, однако, как этот ночной, горячечный бред находит опору в официальной идеологической эмблематике, нервически усиливая ее и доводя до логического конца — некоторые стихи кончаются прямым призывом к священной войне, к погрому, к насилию, к расправе, к Варфоломеевской либо к Хрустальной ночи:

Над нами реет знамя наше алое,
а мы не уступаем даже малое.
Галактики в пространстве разлетаются...
Друзья как иноверцы раскрываются.
И мы уже не понимаем тонкостей,
полны святой и искренней жестокости.

Но это жизнь, и нет врагам прощения:
да будет в спектре красное смещение!

Иначе говоря — пусть прольется кровь.

И да будет услышан этот военно-митинговый призыв поэта -черносотенца!

Вопрос же заключается в другом — во имя чего, во имя каких идеалов ведется столь ожесточенная и разнузданная пропаганда?

Как говорится, "чего ж тебе надобно, старче?"

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ

Скажем сразу же — они сумбурны и неустойчивы.

Пожалуй, в отрицании наши поэты более целеустремленны.

Позитивная их программа лишена подобной цельности и уже потому уязвима.

Этакая смесь совершенно диковинных ретроспективно-патриархально-мракобесных утверждений с куда более знакомыми и четкими государственными идеалами.

Пожалуй, большинство из этой армии поэтов находится в некоторой даже брюзгливой оппозиции к Советской власти — это оппозиция справа (по прежней терминологии) — недовольный ропот черносотенца, которому правительственные мероприятия кажутся излишне осторожными — особливо в борьбе с крамолой, с инакомыслием, с интеллигенцией, с диссидентами и с евреями.

Национал-шовинизм Русской партии больше всего проявляется именно в том, как любую литературную дискуссию, где им не хватает словесных аргументов, они немедленно переводят в политическую плоскость, когда аргументы излишни, ибо вполне достанет заклинаний и проклятий.

Все больше мы находим в их задиристой полемике отзывы и рецидивы конца сороковых годов, порою чисто механически (или интуитивно!) переносится в теперешнее время воинствующий идиотизм патриотических бредовых концепций, которых во времена борьбы с космополитами была тьма-тьмущая.

К примеру, к середине семидесятых годов относится возврат одного вполне бездарного литератора к собственному, читанному им осенью 1948 года докладу о русском происхождении героя Троянской войны Ахиллеса — на основании его голубоглазости, светловолосости, курносости и других, столь же убедительных признаков.

Вывод:

"...мы, русские, являемся не только "первонаследниками Эллады", через посредство Византии, но и гораздо ранее возникновения самой Византии мы, русские, а с нами вместе и славянство, были соучастниками, сотворцами великой Средиземноморской античной культуры".

Спасибо еще, что соучастниками, а не родоначальниками!

Соучастниками — Трою брали, Парфенон строили, "Эдипа" писали: с о а в т о р ы !

Хотя какие там соавторы! Это греки — наши соавторы! Ибо русский Ахиллес — ссылка на Белинского — "выше всех других героев целою головою... представляет совокупность субстанционных сил народа".

А в стихах об этом так:

Коль на Руси был век Эллады,
Был и Гомер. Не мог не быть.

А в самом деле — если Ахиллес был русским, то почему не быть русскими Гомеру, Солону, Софоклу, Периклу, Фидию и Александру Македонскому — да хоть самой Сафо. А Зевс с Афиной и Афродитой — случаем, не православные по своему вероисповеданию?

Впрочем, что касается русского Гомера, русского Овидия, русского Шекспира, русского Данте и русского Рембо, то это, конечно же, — Сергей Есенин, солнце русской поэзии, общий наших поэтов кумир, идол и бог.

Вернемся, впрочем, к грекам — к их русскому происхождению и православной вере.

Ведь что замечательно — робкие попытки научного спора с этими маразматическими утверждениями были с порога отвергнуты, как представляющие "желудочно-половой космополитизм" — ссылка на Салтыкова-Щедрина! — то есть антипатриотические.

Столь же яро отвергаются, пресекаются и запрещаются любые гипотезы, проливающие новый свет на древнерусские литературные памятники — будь то гипотеза Зимина о фальсификаторском происхождении "Слова о полку Игореве" до объективного — а не смещенно-патриотического разбора этого произведения казахским поэтом Олжасом Сулейменовым, которого за его талантливые и проницательные новации объявили не более и не менее как сионистом! — самое страшное обвинение в устах адептов Русской партии, да, впрочем, и любых других теперь, в пределах нашего славного отечества.

Столь же свято и остервенело оберегаются — не как архитектурные памятники, не как историко-идеологические святыни — древнерусские церкви и монастыри: и воспеваются в обязательном порядке. Каждому из более или менее знаменитых храмов посвящены сотни стихотворений.

Увы, все эти и в самом деле превосходные памятники нужны нашим поэтам не сами по себе, но сугубо в агитационных целях — в качестве иллюстрации к лозунгам либо — молитвенных святынь идолопоклонства. В этом убеждаешься, когда чуть ли не у каждого поэта находишь такое количество фактических ошибок, что диву даешься: а видали ли они то, что так восторженно воспевают, — либо знают понаслышке?

В самом деле, один поэт путает легендарный и по легенде затонувший град Китеж — с целехонькими и почти заново отреставрированными Кижами, другой услужливо предлагает читателю проехаться на владимирском такси через Золотые Ворота, а в них и всадник еле проедет — так они узки; третий, обращаясь к иностранке, посетившей Ленинград, язвительно ей выговаривает:

Тебя влекли Гостиный и Пассаж,
Не фрески в Русском, а на Невском блузки!

Трудно, но все-таки можно предположить в оторванном от житейской реальности поэте такое потрясающее невежество относительно уровней советской и зарубежной промышленности: какая чудная иностранка станет покупать в Советском Союзе блузки да и любые другие предметы ширпотреба? Но что все-таки необходимо знать столь ревностному и принципиальному поклоннику древней Руси — это что в Русском музее фрески отсутствуют, ибо так запросто с церковной стены на музейную не переносятся: фрески — не иконы!

Увы, и Китеж, и Кижи, и Золотые Ворота, и иконы, и монастыри, и древние города — не более как знакомая, иероглифическая система — сакральные или боевые символы, а вовсе не реальность, даже в ее поэтическом преображении.

Политические идеалы "Русской партии" в традициях, в древности, в старине. Характерно, как изымается из длинного этого списка древнерусских святынь все, что касается Новгорода, с его демократическим вечевым устройством, с его независимостью и свободолюбием, с его обширными и регулярными западными связями: окно в Европу Новгород прорубил задолго до Петра!

И был раздавлен и уничтожен Московской Русью, отечественным нашим иродом, Иваном Грозным — одним из наших иродов: многочисленных.

Политический идеал наших поэтов — Русь древняя, но обязательно — княжеская, холопья, тоталитарная, наглухо изолированная от остального мира.

А так как наши авторы вторят черносотенцам начала этого столетия, а то и дословно их дублируют, то и мы не станем искать новые аргументы в споре с ними, а сошлемся на знаменитое, 1903 года, стихотворение "Националисту" Алексея Жемчужникова, одного из создателей Козьмы Пруткова, и приведем из него первые три строфы в надежде, что любопытствующий читатель прочтет его как-нибудь на досуге и целиком:

Народность гражданам мила не без причин;
Тебе же, собственно, в ней то милей, что старей;
Ты как же старину взлюбил: как гражданин
Иль антикварий?
Ты ищешь лучшего. Нетрудно также мне
Признать, что времена теперешние плохи;
Но надобно мне знать: ты манишь к старине
Какой эпохи?
У нас запас грехов немалый позади.
Что, если в час лихой мы вновь сдружимся мигом.
Иль с правом крепостным, или — того гляди —
С татарским игом!

Но так ли уж далек — по хронологии — политический идеал наших мечтательных поэтов? Сощурим глаза, всмотримся пристальней и за размалеванной, аляповатой маской различим странно знакомые и отнюдь не древнерусские черты — да и не русские вовсе!

Во все века, когда бывало туго,
Страною правили крутые мужики.
Державой правили такие мужики,
Что здорово ее любили, здорово.
В толпе крестились смута и враги,
Когда на плахе срубленные головы
По матушке царь-батюшку крестили.
...Не свят был Александр Ярославич.
Не легок Петр. И грозен Иоанн.
Но никакою кровью не ославишь
Деяния рукастых россиян.
Они в столетьях только стали правы.
С трубой подзорной, с трубкою в руках
Они стоят в истории державы
В ботфортах и в солдатских сапогах.

Бог с ней, с апофеотикой плах и крови — но кто это такой знакомый стоит перед нами, как живой — в солдатских сапогах и с погасшей в руке трубкой?

Не узнаете?

Когда-нибудь, я знаю, это будет,
и руки у кого-нибудь дойдут,
и выстроят такое зданье люди,
не выстроят, верней, а возведут.
В нем будет все: все имена Героев
и полной Славы Кавалеры все
сойдут на мрамор, золотые, строем,
в непозабытой воинской красе.
...Пусть, кто войдет, почувствует
зависимость от Родины, от русского всего.
Там посредине —
наш генералиссимус
и маршалы великие его.

Так что, древняя Русь с молитвенно-салютным к ней отношением — не более как эвфемизм, этакое лицемерное благозвучие из опасений цензурных рогаток нашей печати.

Поразительная вещь — как бы далеко ни удалялись наши поэты от официального идеологического центра, они неизбежно к нему возвращаются — словно на поводке.

То они объединяют сионистскую идею земли обетованной и иудейскую теорию избранничества — с красным и советским патриотизмом.

То наши крещеные сионисты объявляют крестовый поход против некрещеных, причем ненависть к иноверцам терминологически обогащают извлечениями из программных статей конца сороковых годов нашего столетия.

То заимствуют анкетную въедливость у наших отделов кадров — и усиливают ее стократ.

А уж если отстаивают наши поэты монархизм, тоталитаризм, вождизм и прочие отечественные прелести, то к чему ходить далеко, когда под рукой сравнительно свеженький — и четверти века не прошло! — трупешник нашего любимого генералиссимуса и дорогого вождя Иосифа Виссарионовича Сталина!

Потому что как ни хорош тот же Иван Грозный, а Сталин все-таки лучше — универсальнее, современнее, безукоризненнее.

Сталин — и вся его эпоха: с победными маршами и чудовищными военными катастрофами, советским меднолобым оптимизмом и кошмарным, пыточным архипелагом — фундаментом этой рабьей страны, с фанфарами, доносами и расстрелами, вошедшими в быт.

Эпоха кровавая, кошмарная и вожделенная...

А сейчас как — поубавилось у них агрессивности?

Не дай Бог! ибо это значило бы, что они успокоились, достигнув той власти, о которой мечтали и к которой рвались, и теперь хитрят, ловчат и дипломатничают — перед тем, как перейти от слов к делу.

Не дай-то Бог! — уж лучше слова, маскарадный шабаш на поэтической площадке!

Лев КОПЕЛЕВ

ОТ РОДА К ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ

Книгу Гаролда Айзекса "Идолы рода" я в первый раз прочел единым духом, как читают увлекательную беллетристику. Потом стал перечитывать, не спеша, пристально и пристрастно, как научную работу на близкую волнующую тему.

Г. Айзекс много знает. Он рассматривает исторические документы, научные труды, серьезно исследует и свой непосредственный опыт, личные наблюдения. Он отнюдь не бесстрастный созерцатель, не коллекционер — накопитель сведений. И не дает своим богатствам оставаться втуне, щедро делится ими с читателями, заставляет их "работать".

Но это не просто "приключения отважной мысли", как сказал бы Гегель. Размышления Г. Айзекса пронизаны тревогой за судьбы людей — ближних и дальних, сограждан, современников и еще не рожденных обитателей нашей, все более тесной планеты.

Harold R. Ysaaks. Ydols of the Tribe. № 7, 1975.

Он пишет взволнованно, темпераментно, однако, старается объективно излагать не только суждения предшественников и единомышленников, но и чуждые, противоположные ему взгляды. Он не проповедует, не вещает непреложно, а думает, исследует, задает и такие вопросы, на которые сам не может найти ответа, без обиняков признается в сомнениях. Из того, что, и в том, как он пишет, проступает нравственный облик автора ("стиль это человек") — умного, талантливого и совестливого.

Однако радость, доставляемая книгой, еще не означает согласия с тем, что в ней высказано. А уважение к автору требует тем более откровенно и нелицеприятно излагать, в чем с ним не согласен.

Мне представляется, что Г. Айзеке слишком широко и по существу не исторично (или недостаточно исторично) толкует понятие нация и национальность. Интересные наблюдения и мысли, заключенные в главе "История и происхождение" (History and Origin), приводят к таким обобщениям, которые, по-моему, чисто мифологичны, как, например, тезис о врожденности национальной природы.

Г. Айзекс убедительно доказывает несостоятельность упрощенно рационалистических толкований понятия нации, толкований, опровергаемых "ироническим парадоксом" современных национализмов, которые возрождаются или даже впервые возникают именно в наше время, в эпоху необычайно интенсивного глобального развития всяческих интернациональных связей и "сверхнациональных" экономических и политических объединений. Впервые в истории человечества так непосредственно злободневны стали воистину общепланетарные проблемы — угроза термоядерной войны, разрушение биосферы, демографические "взрывы", исследования космоса. Благодаря международному культурному обмену, радио, телевидению, массовой печати небывалое прежде множество людей в самых разных странах познает и сознает животрепещущие общечеловеческие интересы.

Но в то же самое время все острее, все разительнее проявляются и националистические и шовинистические идеи, действительные и мнимые национальные противоречия.

Новый смысл и новую силу обретают древние слова. "Время разбрасывать камни и время собирать камни... время раздирать и время сшивать, время молчать и время говорить" (Екклезиаст, 3).

Никакими умозрениями, ни формально логическими, ни диалектическими, ни по Гегелю, ни по Марксу, ни по Вундту или Спенсеру, ни социологам, ни политикам не объяснить новейшее возрождение, казалось бы, давно забытых племенных амбиций. Сегодня они провозглашаются национальными интересами, возбуждают все новые проблемы и споры в Ирландии, Уэлсе, Шотландии, Канаде, Бельгии, Прибалтике, Закавказье, Средней Азии, в Восточной Сибири, на Ближнем и на Дальнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и других краях. У нас в стране после нескольких десятилетий казенно догматического интернационалистского воспитания и пропаганды некоторые народности впервые начали сознавать свою национальную самобытность (буряты, якуты), а другие с новым упорством отстаивают подавляемые национальные традиции.

Так же, как и Г. Айзекс, я отвергаю упрощенный социологический материализм в толковании становления и развития народов; но я не могу принять и тот биологический материализм, который, ссылаясь на известные реальные биогенетические различия (глава "Body"), посредством этих логических Salto vitale приводит к утверждению внеисторичных мистически постоянных особенностей национального "естества". Доказательствами такого постоянства приводятся примеры из новейшей истории США — диссоциативные процессы внутри Melting pot, то есть возрождение или активизация разнородных национальных групп из американского, итальянского, польского, еврейского, немецкого, ирландского, литовского, украинского и пр. происхождения, а также опыт Израиля, где, напротив, заново возникает единая нация, сплавляемая из иммигрантов, различных по языкам, обычаям, по культурной "предыстории". Немало фактов приведено и из современной жизни Индии, Китая, Японии.

Эти примеры должны доказать, что истоки современных наций кроются в глубинах разных исторических и даже доисторических эпох и что природа национального самосознания таит в себе не только рассудочные, реальные, но и мифологические, иррациональные, непознаваемые — во всяком случае пока еще не познанные элементы.

Однако все эти факты не могут опровергнуть простой истины. Каждая современная нация — именно нация, а не племя, — это прежде всего духовная, то есть культурно-историческая общность. Нацию создают ее прошлое и ее настоящее — мифы, традиции, фольклор, предания, давняя и недавняя история и, конечно, живой язык, словесность, религия — все те проявления общественного бытия и общественного сознания, которые образуют национальную культуру.

2.

Вопреки "идолам рода" я убежден, что национальность не врожденна. Человек рождается внутри определенной нации. Но обретает национальную культуру и национальное сознание не с "кровью", не с генами и не с материнским молоком, а по мере того, как усваивает язык и тот конкретный жизненный опыт, из которого возникают и подсознательное непосредственное мировосприятие, и полуосознанное мироощущение, и ясно сознаваемое мировоззрение.

Нельзя просто по своей воле избрать нацию, как нельзя выбирать родителей. Но в определенных случаях молодые люди, наделенные живым энергичным восприятием мира, могут "перейти" из одной нации в другую. Примеры: Джозеф Конрад, Гийом Аполлинер, Эжен Ионеско. Еще легче обретают другую нацию дети. Немецкие поэты Лямотт Фуке и Адальберт Шамиссо в детстве были французами, Ленау — венгром, немецкий романтик Брентано и французский натуралист Золя родились итальянцами, французский поэт Эредиа по рождению кубинец. Русскими литераторами стали молдаванин Кантемир, бывшие немцы Фонвизин, Дельвиг, Кю-

хельбекер, Даль, Пильняк, Олеша, поляки Вересаев и Паустовский, армянка Шагинян, татарка Сейфуллина, грузин Окуджава, абхазец Искандер, кореец Ю. Ким и многие другие. Единственен в своем роде Владимир Набоков — одновременно русский и американский и притом великий писатель.

В развитии современной русской, немецкой и американской культуры плодотворно участвуют многие мыслители, писатели, художники, музыканты, артисты еврейского происхождения. Иным из них не позволяли забывать об этом происхождении не столько воспоминания детства, сколько напоминания антисемитов. Но и наиболее явственная еврейская "приправа" в судьбе и в сознании не помешала Гейне стать великим немецким национальным поэтом, а Бертольту Ауэрбаху даже первым писателем немецкой деревни.

Немцами были и останутся Маркс, Лассаль, Тухольский, Толлер, Беньямин, Э. Блох, Зегерс, А. Цвейг, австрийцами остаются Фрейд, Кафка, Краус, Рот, Г. Брох, Ст. Цвейг и многие другие, так же, как Юлиан Тувим, — поляк и только поляк. Русскими мыслителями были С. Франк, Л. Шестов, М. Гершензон. Навсегда русские и только русские поэты — Фет, Мандельштам, Пастернак, Самойлов, Слуцкий, И. Бродский, А. Галич — русские и по судьбам, и по мировосприятию, воплощенному в слова; прозаики — Бабель, Тынянов, В. Гроссман, Е. Дорош… Списки имен можно еще значительно продолжить, особенно, если вспоминать художников, музыкантов, артистов.

Различать мастеров американской культуры по их этническому происхождению, пожалуй, и вовсе не мыслимо. Как бы остры ни были сегодня противоречия между отдельными этническими группами, как бы пылко ни прославлялись заново возрождаемые или впервые возникающие "идолы рода", но музыка и фольклор черных американцев, творчество Ричарда Райта, Джеймса Болдуина, подвиг Мартина Лютера Кинга так же нераздельно сплавлены с единой во всем ее противоречивом многообразии американской культурой, как и творчество Чаплина, Артура Миллера, Гершвина, Сола Беллоу и других замечательных американцев.

"...Что же "ново" и что "старо" в росте этнического сознания, что в нем лишь пустой звук, а что существенно?" — спрашивает Г.Айзекс. "Какой новый плюрализм?" Так называется заключительная глава. Автор не дает однозначных ответов. И в этом одно из существенных достоинств его увлекательной и поучительной книги. Она побуждает развивать и дополнять наблюдения автора, искать ответы на его вопросы, заданные взволнованно и умно, вызывает на споры, заставляет читателя думать...

3.

Иронический парадокс нынешнего многообразного возрождения "идолов рода" мне представляется закономерным, естественным, но отнюдь не однозначным по своей исторической и социальной природе.

Почти двести лет тому назад — в 1784 году — Кант надеялся, "...что после некоторых преобразовательных революций осуществится наконец то, что природа наметила своей высшей целью, а именно всеобщее всемирно-гражданское состояние, как лоно, в котором разовьются все первоначальные задатки человеческого рода".*

Великий русский ученый Владимир Вернадский, который уже полвека назад предвидел и возможности широчайшего использования атомной энергии и перспективы освоения космоса, писал:

"Впервые человек охватил своей жизнью, своей культурой всю верхнюю оболочку планеты — в общем всю биосферу, всю связанную с жизнью область планеты..."

Но однозначен ли, только ли благотворен все нарастающий процесс объединения человечества, в ходе которого создается то, что Вернадский и вслед за ним Т. де Шарден называли ноосферой, обволакивающей землю людей?

Индустриальная цивилизация, и, в частности, все расширяющееся воспроизводство и совершенствование "масс медиа", — тех средств массовой связи и массовой информации, которые

---

* И. Кант. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане. Сочинения т. 6, Москва "Мысль", 1966, стр. 21.

воздействуют на сознание, подсознание и даже "предсознание" миллионов людей, — ведут к небывалой в истории обезличивающей стандартизации, к стиранию различий между отдельными людьми и группами людей — "коллективными личностями" — городами, племенами, нациями. То о т ч у ж д е н и е человека, о котором некогда писали Гегель и Маркс, в наше время разрастается до степени безысходного одиночества двуногих термитов.

Гете радостно утверждал:"Das hechste Glück der Erdebkinde, das ist doch die Persönlichkeit"(Наивысшее счастье рода людского — личность).

А сто лет спустя Маяковский восхищался: "Россия вся единый Иван", воспевал блаженство, когда "каплей льешься с массами" и насмешничал: "Единица! Кому она нужна?!.. Единица — вздор, единица — ноль!.."

Различны формы и средства обезличивания. В богатых странах преобладает власть "сладкой жизни", стандартизация всяческого комфорта, коммерческой и политической рекламы, стандартизация благ и стандартизация пороков. В странах бедных действуют обезличивающая нищета, стандарты казармы и концлагеря, шаблоны идеологий — казенной пропаганды, казенной эстетики и казенной педагогики.

Давлению всех этих обесчеловечивающих сил — мирных и воинственных, "сладких" и "горьких", — давлению государств, церквей, партий, индустриальных, коммерческих, полицейских, идеологических властей противостоят отдельные люди и группы людей, объединившихся, чтобы защищать свою "отдельность", особость.

Тираническому великодержавию, вселенски претенциозным идеологиям и стандартизующей цивилизации сопротивляются бунтари, отщепенцы, еретики, изгои, секты, оппозиции — личности и группы личностей, объединяемые иногда лишь едва сознаваемым стремлением к самобытности.

И нередко в таких содружествах — сектах, партиях, движениях — в свою очередь возникают внутренние властные силы, стремящиеся любой ценой подчинить часть целому, меньшинство большинству, личность — обезличивающим уставам.

Нация, народность, племя, народ — суть коллективные личности и вместе с тем с в е р х л и ч н ы е общности. Их поборники — идеологи, вожди, властвующие учреждения — бывают нередко склонны презирать и сурово подавлять тех, кто не спешит жертвовать личным благом ради общего, не склонен "каплей литься с массами".

И все же каждая нация, каждое племя — самобытная, органически возникшая естественная сила, которая противодействует глобальным стандартам.

Эту закономерную противоречивость предвосхитил и сознавал уже Гете полтора столетия тому назад. Споря с теми проповедниками объединения Германии, которые хотели сгладить все племенные и диалектные различия, он писал в 1821 году: "...от немцев требовали смешать воедино все свои разнообразные наречия для того, чтобы достичь настоящего национального единства. Это было бы воистину нелепым смешением языков и привело бы не только к порче хорошего вкуса, но и к внутреннему разрушению своеобразного характера нации, ибо что могло бы получиться из нее, если бы стали сглаживать и нейтрализовать все, что значительно для отдельных племен?.. Оставим же раздельным то, что разделила природа, не будем соединять, связывать между собой все то, что на земле отделено большими расстояниями, и, не ослабляя своеобразия отдельных частей, будем связывать их в разуме и любви"*.

Этот призыв Гете сегодня еще более своевремен, чем был в его дни. Сегодня возрождаются многие стародавние и возникают все новые национальные и националистические, племенные и этнические мифы, идеологии, плодотворные предания и тлетворные предрассудки. И во многих случаях естественное сопротивление всемирной, или даже только "всеевропейской", "общеамериканской", "всеафриканской" или "общесоциалистической" унификации бытия и сознания оживляет плодотворные традиции национальных культур, рождает новые нравственные и художественные ценности.

---

*Goethe, Samtliche Werke. Artemis 1977. B. 14, 490.

Но, увы, нередко международная стандартизация лишь сменяется другой — провинциальной, мнимо народной, стандартным производством дешевого экзотического ширпотреба и казенного фольклора на экспорт в утеху иностранным туристам и невежественным ревнителям отечественной самобытности — "почвенности".

4.

Патриотизм — здоровое органическое чувство привязанности к родине, родному языку, словесности, искусству, истории — "любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам" (Пушкин).

Национализм — болезненная напряженность патриотического сознания и патриотических чувств, которая возникает, как естественная реакция на ущемление национальных интересов, на угрозу национальному существованию.

Патриотизм и национализм бывают источниками настоящего искусства, настоящей поэзии. Тогда их плоды становятся живыми достояниями и национальной культуры и всего человечества.

Однако из той же почвы, даже из тех же корней, что и добрые "идолы рода", чьи голоса внятны в творениях Гомера, Данте, Рабле, Сервантеса, Шекспира, Гете, Пушкина, Достоевского, Толстого вырастают и злые идолы шовинизма. Они уже внушают не столько любовь к своему единородному, сколько ненависть ко всему чужеродному, инородному, к иным нациям, иным расам и к инакомыслящим соплеменникам.

Шовинизм всегда лжив, претендуя на превосходство, избранность одной нации, одного племени и принижая все другие. А шовинизм великодержавный всегда преступен, так как неизбежно ведет к угнетению более слабых народов, к жестоким расправам и кровавым жертвам.

Г. Айзекс утверждает, что "разнообразие родовое более всех других причин вело к озверению человеческого существования". Думаю, что классовые, религиозные и политические противоречия и даже спортивные страсти внутри одного народа бывают не менее брутальны.

Фрэнсис Бэкон, у которого Г. Айзеке позаимствовал "заглавное" понятие, придавал ему несколько иное значение. "Идолы рода" (в другом переводе "призраки рода") - "находят основание в самой природе человека". К ним Бэкон относил присущие всем людям врожденные представления и предрассудки и прежде всего уверенность, будто "чувство человека есть мера всех вещей". Он полагал, что такое представление, "примешивая к природе вещей свою природу, отражает вещи в искривленном и обезображенном виде".*

Это определение, пожалуй, годится и сегодня для характеристики предрассудков любого шовинизма.

Бэкон различал еще и другие виды "идолов", которые осаждают умы людей. "Идолы пещеры" — индивидуальные "заблуждения отдельного человека"**, возникают вследствие особенностей его воспитания и личной жизни. "Идолы рынка... проистекают как бы от взаимной связанности и сообщества людей".*** "Идолы театра... не врождены и не проникают в разум тайно, а открыто передаются и воспринимаются из вымышленных теорий и из превратных законов и доказательств".****

Характерно, что именно Фрэнсис Бэкон триста лет спустя вдохновляет американского исследователя. Однако мне представляется, что в становлении и развитии современного национального сознания, а также и националистических предрассудков действенно участвуют не столько "идолы рода", сколько идолы "пещеры", "рынка" и "театра", то есть школ, церквей, общественных форумов.

Все эти живучие идолы на протяжении многих веков и вплоть до наших дней не раз торжествовали, гася, вытаптывая древние и новые чуждые им идеи, мечты и замыслы — проповеди христианских вселенских церквей, замыслы

---

* Фрэнсис Бэкон. Новый Органон. Афоризмы. XI, I.
**Там же, XI,II.
***Там же, XI, III.
****Там же, I, XI.

папского миродержавия, мечты просветителей — космополитов, теории интернационализма и все попытки их революционного осуществления, утопии безнационального братства эсперанто, необуддизма и др.

В храмах, у алтарей и жертвенников разноликих национальных идолов возникают все новые песни, все новые творения искусств, разыгрываются все новые трагедии и трагикомедии. Идолам приносят и еще долго будут приносить кровавые жертвы. Они вдохновляют и миллионы мирных почитателей и тысячи воинственных фанатиков-изуверов.

Однако живучи не только идолы..

"И свет во тьме светит и тьма его не объяла" (Иоанна 1,5). Во все эпохи истории недобрым идолам противостояли добрые идеалы человечности, международного братства — идеалы Нагорной проповеди, призывы "несть эллина и несть иудея". Надежды Руссо, Канта, Гете, Маркса, Кропоткина, Льва Толстого, Швейцера, Вернадского, Т. де Шардена, М.Л. Кинга...

5.

Г. Айзекс справедливо указывает на существенные различия между понятиями *нация* и *государство*.

Эти различия нередко становились трагическими, непримиримыми противоречиями. Так было в истории всех многонациональных государств и в истории тех наций, которых разделяли на части государственные границы, — в истории Польши, Украины, России, Германии, Италии, Австро-Венгрии, Оттоманской империи, армянской и еврейской диаспоры, латино-американской культуры…

Однако в этих же исторических трагедиях, так же, как в исполненной драматизма истории "Американской мечты", кроются завязи старых и новых надежд.

Герберт Цанд — замечательный австрийский писатель, очень своеобразно толковал притчу о Вавилонском столпотворении.

"...Населялись острова народов в землях их, каждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих" (Бытие, 1, 10, 5). Но потом оказалось "На всей земле был один язык и одно наречие" (Бытие, 1, 11, 1). И тогда возник замысел, для автора "Бытий" необычайный, дерзновенный: "Построим себе город и башню высотой до небес и сделаем себе имя, прежде чем рассеемся по лицу земли" (Бытие, 1, 11, 3).

Цанд видит в этом предании отсветы древнейших попыток создать единоязычную державу — город. "Потому и дано ему имя Вавилон; ибо там смешал Господь язык всей земли и оттуда рассеял их по лицу всей земли" (Бытие, 1, 11, 5)… Так стремление к надродовой сверхплеменной централизации, к искусственному державному объединению разных племен и народов привели к рассеянию, разобщению, к неодолимому разноязычию...

В библейском сказании предстает и доныне действенная закономерность. Непримиримо противоположны: великодержавные претензии и судьбы народов, бесчеловечно искусственные замыслы и жизнь людей.

На протяжении веков, тысячелетий то возникали, то распадались государства. Иные племена и народности сплачивались так, что даже наименования отдельных частей исчезали, растворялись в очередном "столпотворении". Римские и византийские цезари, наследники Магомета и Чингиз-Хана успевали воздвигнуть немало городов и башен и "сделать себе имя", прежде чем наступало новое рассеяние... Обломки разбитых империй, остатки разгромленных племен снова и снова сочетались, перемешивались и сбивались воедино в державных "ступах" тяжкими пестиками неисповедимых исторических закономерностей, скипетрами калифов, шахов, королей, императоров, султанов, Габсбургов и Романовых, Бонапартов и Гогенцоллернов...

Однако живое разнообразие племен и народов не могли окончательно подавить ни варварское, ни античное, ни феодальное, ни "просвещенно" абсолютистское, ни империалистическое, ни тоталитарно идеологическое великодержавие. Вопреки самым жестоким давлениям, вопреки всем соб-

лазнам унификации сохранялись и темные идолы рода и светлые идеалы национальных культур.

Гаролд Айзекс заключает свою книгу словами надежды:

— И все-таки можно вообразить структуру власти, новый плюрализм, в котором люди смогут лучше, чем сейчас, ужиться друг с другом. И те, кто, несмотря ни на что, верят, что такое более человечное устройство человеческих дел — возможно, — должны держаться истинного и справедливого в нашем мире, даже если к этому истинному и справедливому мы пришли ложным путем.

Так и я надеюсь и верю. Не только благодаря, но и вопреки урокам истории. Надеюсь, что и самые мощные всеохватные потоки глобальной цивилизации и самые совершенные интернациональные общественно-политические структуры не превратят нашу землю в термитник, не обезличат человечество. Надеюсь, потому что верю в живучих идолов рода и в жизнеспособность международных идеалов, верю, что и непримиримо противоречивые, они все же не исключают, а плодотворно дополняют друг друга.

"И свет во тьме светит и тьма его не объемлет".

ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ

«Континент» № 16

Содержание

Стихи современных украинских поэтов.
В переводах Игоря Качуровского.
Виктор Ворошильский - Венгерский дневник.

СТИХИ
Виолетта Иверни, Вадим Делоне, Лия Владимирова

Феликс Кандель — "Это не телефонный разговор..."

СТИХИ ПОЭТОВ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ
Валерий Перелешин, Игорь Чиннов

Владимир Максимов —"Ковчег для незваных" (глава из романа).
Генрих Сапгир — Из книги "Сонеты на рубашках"

РОССИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Борис Парамонов — Мальчик против мужа

ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ
Вацлав Белоградски — Литература как критика банального зла
Польский Аноним — Нация — религия — миссия — ответственность

ЗАПАД- ВОСТОК
Андрей Сахаров — Ядерная энергетика и свобода Запада
Энцо Беттица — Еврокоммунизм и Грамши

ИСТОКИ, ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА, ИСКУССТВО, ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ, КОЛОНКА РЕДАКТОРА, КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ, КОРОТКО О КНИГАХ, ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ

Главный редактор журнала — ВЛАДИМИР МАКСИМОВ
Представитель в Израиле — Михаил Агурский. Рамот, 6/30, Иерусалим.
"Континент" выходит ежеквартально. Цена отдельного номера 12 ДМ, пересылка за счет заказчика. Годовая подписка 40 ДМ, включая пересылку.

A. Neimanis · Buchvertrieb
Bauer Str. 28 — 8000 München 40
GERMANY Tél. 37-05-34

Лев ЛАРСКИЙ

ЗДРАВСТВУЙ, СТРАНА ГЕРОЕВ! (из мемуаров ротного придурка)

Часть 4. БОЕЦ "НЕВИДИМОГО ФРОНТА"

С детства я привык относиться к славным чекистам со священным трепетом. Они чем-то выделялись среди всех папиных друзей-военных, хотя носили такую же форму с "ромбами", портупеями и кобурами. Печать суровости лежала на их мужественных лицах, работа их была овеяна страшной тайной. Среди папиных товарищей по подполью в период гражданской войны было несколько рыцарей революции, работавших в ЧК под руководством "железного Феликса", а затем занимавших ответственные посты в НКВД.

Правда, судьба сыграла с ними злую шутку — в период нарушения ленинских норм эти люди, безжалостно карав-шие врагов революции, сами превратилась в зэков ГУЛага. Но, тем не менеее, их облик навсегда врезался в мою память.

Продолжение. Начало см. в 29 номере журнала.

Именно такими, как дядя Тарас, дядя Чернов или дядя Додя, я представлял себе и других чекистов.

Дядя Тарас особенно поражал меня своей солидностью, а также тем, что он жил в башне над зданием НКВД со стороны Лубянского проезда (рядом с теперешним магазином "Гастроном" № 40). Квартира его находилась на самой верхотуре! Пройти к ним в гости было еще сложнее, чем в Дом правительства, вооруженный красноармеец конвоировал нас с папой, будто арестантов, и сдавал дяде Тарасу под расписку. (Вряд ли мой папа тогда предполагал, что конвоиры будут приводить его в эту чекистскую обитель уже не в качестве гостя, а в качестве подследственного) .

Квартира дяди Тараса очень напоминала расположенный возле Лубянки Политехнический музей. Даже в "Государстве моей бабушки" я не видел ничего подобного. Например, на кухне красовался специальный электрический шкаф, в котором хранились всякие вкусные вещи. Черная икра, семга, балык, шоколад и прочие деликатесы. И в этом шкафу в самую жаркую погоду стоял такой мороз, что вода могла замерзнуть! Или еще одно чудо: электрический патефон вместе с радио, размером с буфет. Причем, пластинки в нем, как это было только в Политехническом музее, менялись сами, без помощи людей.

Пока папа с дядей Тарасом вели серьезные разговоры о политике, я не мог оторваться от этого чуда.

Другой папин товарищ-чекист дядя Чернов тоже всегда разговаривал с папой о международном положении или о революции. Он жил в обычном доме без охраны, хотя тоже занимал высокий пост. Ему очень неудобно было ездить на своем "Бьюике" из центра к нам на шоссе Энтузиастов, и поэтому он агитировал папу перейти на работу в НКВД.

— Гриша, давай я устрою тебя научным референтом к товарищу Ягоде. Зарплата, конечно, не наркомовская, но зато квартиру получишь в центре, машину будешь иметь и все прочее,— предлагал он папе.

Слава Богу, что папа не согласился, иначе он наверняка разделил бы судьбу самого товарища Ягоды.

Мы у Черновых часто бывали, я дружил с его сынишкой, носившим странное имя Эссиля. Он рассказал мне по секрету, что в его папу стреляли враги народа, но, так или иначе, дядя Чернов поверх военной формы всегда надевал пальто и ходил в простой кепке — такая опасная у него была работа*

Третий папин товарищ из НКВД — дядя Додя — работал не в Москве, но каждый раз, когда приезжал в командировку, обязательно заходил к нам поговорить с папой, чтобы быть в курсе мировой политики или посоветоваться с ним по семейным делам. В этой области мой папа разбирался куда слабее, чем в марксистской теории, но он папу так уважал за его ученость, что все равно хотел знать его мнение. Он хорошо знал не только папу, но и всю нашу семью, а с моей тетей в юности вместе работал в типографии. Находясь в большевистском подполье при белогвардейцах, он поручал тете кое-какие секретные задания, хотя она была беспартийная. По старой памяти, тетя называла его Додей, как когда-то в подполье. Она часто вспоминала об его отчаянной храбрости. Действительно, у дяди Доди вид был такой, что каждому становилось понятно, что это за человек. Для меня он был человеком из легенды, от которого веяло романтикой революционного подполья.

Любопытна послевоенная судьба этих людей. В период массового нарушения ленинских норм дядя Тарас был направлен на Дальний Восток инспектировать ГУЛаг, но командировка его затянулась на десять лет по той причине, что из комиссара госбезопасности он превратился в заключенного. Через десять лет он снова превратился из заключенного в чекиста и прямо в лагере получил звание полковника, но когда возвращался в Москву к семье, он умер от инфаркта, не доехав двадцати километров до столицы, возле станции Томилино.

Дядя Чернов тоже кончил трагически. Правда,это был уникальный случай: его осудили после XX съезда КПСС на пятнадцать лет за нарушение им ленинских норм. Возможно, его тоже пустили бы в расход, но было учтено, что ленинские нормы он нарушал по личному указанию товарища Сталина, занимаясь вплотную "ленинградским делом". А вот дядя Додя, действительно, оказался молодцом. В период нарушения ленинских норм ему так не хотелось угодить в ГУЛаг, что он не больше-не меньше, как скрылся в подполье, умело использовав свой опыт периода гражданской войны. Весь НКВД был поставлен на ноги, два года беглого чекиста разыскивали по всей стране, но он оказался неуловимым. Из разных городов на имя товарища Сталина шли от него письма, в которых он заверял Вождя в своей преданности и в своей полной невиновности. В конце концов, дядя Додя сам сдался "органам", надеясь, что товарищ Сталин за него заступится. Трудно гадать, как сложилась бы его судьба, если бы не грянула война и не потребовалось срочно организовать разведцентр на оккупированной врагом территории. И тогда товарищ Сталин мудро решил поручить это ответственное задание дяде Доде. И, как говорят, при этом логично заметил:

— Если этот человек обвел вокруг пальца наши органы, то фашистское гестапо он и подавно обведет.

Дядя Додя блестяще справился с заданием, стал прославленным "партизанским" командиром. Настоящее его имя широко известно — дважды Герой Советского Союза полковник Дмитрий Медведев, знаменитый писатель (правда, писали за дядю Додю два безродных космополита из "Музгиза"), лауреат Сталинской премии и прочее. Кстати, уже после смерти знаменитого партизана и писателя тетя "раскололась" и выдала страшную тайну, что она выполняла поручения дяди Доди не только в деникинском подполье, но и в сталинском, и многие письма, которые, по расчетам дяди, должны были растрогать товарища Сталина до слез, сочиняла именно она и сама же их конспиративно отправляла, почему-то чаще всего из Малаховки.

"РЫБКА ИЩЕТ..."

Наш особист Скопцов был чекистом нового, военного поколения. От него я не слышал пламенных коммунистических

* Спустя много лет тетя, как всегда по секрету рассказала, что пальнула в него его очередная любовница, артистка цыганского театра "Ромэн".

лозунгов, он не любил рассуждать о марксизме-ленинизме и с презрением отзывался о всяких политработниках — "попах", как он их обычно называл. В своей чекистской работе все явления окружающей действительности он объяснял не марксистской диалектикой, как папины друзья, а куда проще: "Рыбка ищет, где поглубже, а человек — где получше".

За эту пословицу капитан Скопцов получил в полку прозвище "Рыбка ищет" и так его за глаза все называли.

Даже внешность капитана Скопцова совершенно не соответствовала облику настоящего чекиста, каким я его обычно представлял. Он, скорее, был похож на смазливую продавщицу, причем довольно кокетливую, краснощекую, с нежными ямочками на щечках. Должен сказать, что в личном обаянии ему отказать нельзя было. (Между прочим, в полку поговаривали, будто капитан Скопцов женщина, но работает "под мужика" по соображениям оперативного порядка.)

Вообще-то во всей нашей "Ишачиной" затруханной дивизии "Рыбка ищет", пожалуй, и впрямь выглядел "светлой" личностью. Когда он бывал на людях, улыбка не сходила с его нежного личика, и какая улыбка! Мне думается, что Джимми Картер (которого, говорят, за его улыбку и выбрали в президенты) и тот не смог бы так лучезарно улыбаться. При встречах с симпатягой-особистом я и сам не мог удержаться — так заразительна была его сияющая улыбка. Она передавалась, как зевота, и я скалился, хотя на душе у меня в этот момент скребли кошки.

Эти качества капитана Скопцова еще ярче выступали на фоне угрюмой медвежьей фигуры его зама, старшего лейтенанта Зяблика, прозванного "Немым" — от которого на людях никто не слыхал ни слова. Когда "Немой" мрачной тенью следовал за своим сияющим шефом, Колька Шумилин, наш ротный повар, обычно не выдерживал, шептал мне: "Вот муж с женой идут". Но мне было не до смеха.

С капитаном Скопцовым знакомство у нас состоялось в общем порядке, путем фильтрации через Особый отдел сразу же по прибытии нашего маршевого пополнения на Керченский плацдарм.

Ночью мы были распределены по ротам, а наутро нас опять собрали вместе, отвели на какой-то косогор к одинокой землянке и велели располагаться надолго. Было нас человек двести. В землянку вызывали по одному. Процедура затянулась до глубокой ночи. Подобно санчасти, проведшей тут же поголовный телесный осмотр на вшивость и гоноррею, Особый отдел проводил осмотр наших грешных душ.

Не стану вдаваться в подробности, что такое Особый отдел. Хочу лишь посоветовать читателям послевоенного поколения: если какой-нибудь убеленный сединами ветеран будет уверять вас, что во время войны он с Особым отделом не имел ничего общего и что слал всех этих "оперов" к е... м-ри — не верьте этому "герою", ибо, как правило, сетей Особого отдела никто не миновал. Так, на "Горьковском мясокомбинате" каждый маршевик, присягнув на верность Родине и лично товарищу Сталину, давал дополнительную присягу Особому отделу и вместе с ней подписку о неразглашении. Присяга Особому отделу тоже начиналась словами: "Я, гражданин Советского Союза..." Какой же советский гражданин в военное время мог позволить себе уклониться от священной обязанности содействовать органам СМЕРШа* в выявлении вражеских лазутчиков? (Только открытый враг мог на это пойти в порядке саморазоблачения.)

Как читателю уже известно, первым, с кем я столкнулся после своего неожиданного назначения комсоргом в маршевый эшелон, был особист, назвавшийся Лихиным.

Первым из полковых чинов, который со мной беседовал по прибытии нашего маршевого пополнения на Керченский плацдарм, оказался тоже особист — капитан Скопцов.

Когда же я на фронте после ранения угодил в "наркомздрав" — прежде чем меня осмотрели врачи, со мной обстоятельно побеседовал госпитальный регистратор (тот же особист, но в белом халате поверх формы). А если бы, к примеру, мне не повезло, и я отправился бы в "наркомзем", как павший в боях за родину, — и тогда бы "опер" не оставил

* СМЕРШ — это "Смерть шпионам!" Так называлась советская контрразведка.

меня в покое, поскольку он обязан был исходить из предположения, что я сдался в плен или дезертировал с передовой.

Но продолжу рассказ о вечно сияющем капитане Скопцове.

— Мягко стелет, сука, да жестко спать! — так отзывался об обаятельном особисте Бес. Конечно, у блатного глаз был наметан на оперативных работников.

Забегая вперед, скажу, что по окончании войны капитан Скопцов "постелил" Бесу не так уж мягко: десять лет на тюремных нарах! По уголовному делу за убийство лейтенанта-пограничника на почве ревности. "Рыбка ищет" терпеливо выжидал, когда для Беса подвернется хорошая статья. Бес его недооценил и за это жестоко поплатился, думая, что не оставил улик.

Дело в том, что капитан Скопцов был в полку, пожалуй, самым азартным "махальщиком". На фронте игра в "махнем не глядя" стала повальным увлечением. Правила ее были простые. Желавшие "махнуться" должны были быстро сунуть руку в свой карман и, зажав в кулак первую попавшуюся вещицу, обменяться друг с дружкой, после чего разрешалось посмотреть: что кому досталось? В конце войны чего только не было в солдатских карманах. Один "промахал" золотые часы на сломанную зажигалку, другой — на какую-нибудь пуговицу вымахал серебряный портсигар с немецкой монограммой...

Капитану Скопцову везло. Не было случая, чтобы он "промахался".

— Ну, махнем! — предлагал он чуть ли не каждому встречному со своей обворожительной улыбкой и, как правило, за сущую безделицу получал ценный трофей. Вот ведь какой был счастливчик. Часто он вообще махался пустым кулаком или фигой (что, естественно, было против правил). Но, кроме Беса, никто не отваживался махаться с самим начальником Особого отдела кукишем.

— Чтобы я "лягавому" в лапу давал? Не было этого и никогда не будет! — категорически заявлял Бес в ответ на увещевания Мильта, считавшего, что с особистом отношения портить не стоит.

Но у блатного была своя воровская этика. Капитана Скопцова даже в глаза называл по-тюремному "гражданином начальником", а тот лишь улыбался застенчиво. Но, как я уже говорил, Бес "промахался" в своей неразумной игре с Особым отделом.

Со мной капитан Скопцов с первого же взгляда нашел общий язык, заметив шахматную доску, выпиравшую из моего рюкзака. Не знаю, чем он занимался с другими солдатами, по очереди спускавшимися в землянку, но мне он сразу же предложил сгонять партию в шахматы.

Двести человек снаружи полтора часа ждали, пока мы с ним сыграли подряд три партии: первую, к моему удивлению, я проиграл, вторую — выиграл с большим трудом, а в третьей мы согласились на ничью. Наши силы оказались примерно равными. К его явной досаде, он, видимо, привыкший к шахматным победам, так и не смог меня в дальнейшем переиграть. Капитан Скопцов стал моим шахматным врагом, как говорится, не на жизнь, а на смерть. Может быть, поэтому я и задержался так долго в саперной роте, несмотря на его постоянные угрозы отправить меня обратно в стрелки.

Наш с ним общий язык касался только шахмат. По другим вопросам, которые попутно интересовали капитана Скопцова, у нас возникли серьезные разногласия.

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ

Судя по поведению капитана Скопцова, можно было подумать, будто начальник нашего СМЕРШа занимается в полку чем угодно, за исключением ловли шпионов и предателей.

Однако это впечатление было обманчивым.

Во всех полковых подразделениях, начиная от штаба и кончая похоронной командой, днем и ночью кипела напряженная тайная работа бойцов "невидимого фронта".

О том, насколько успешно возглавляемая капитаном Скопцовым агентурная сеть боролась со шпионажем, могла свидетельствовать его неширокая грудь, на которой ордена росли, словно грибы после дождя. А ведь известно, что

ордена так просто не давали. Боевые дела, за которые получали награды полковые разведчики, саперы, артиллеристы, сражавшиеся с врагом в открытом бою, широко пропагандировались политчастью. Репортажи о подвигах с портретами наших героев печатались в дивизионной многотиражке.

За что награждали капитана Скопцова и его подчиненных, никто в полку не знал. Дела их были совершенно секретными, не подлежали ни малейшему разглашению. Каждый, кто так или иначе соприкасался с работой Особого отдела, обязан был давать специальную подписку, что сохранит все в тайне, иначе будет привлечен к строжайшей внесудебной ответственности.

Мне тоже приходилось давать подписки о неразглашении, но, несмотря на это, я чистосердечно признаюсь в том, что сам являлся одним из бойцов "невидимого фронта" и агентом капитана Скопцова в саперной роте.

Читатель не должен страдать из-за того, что в юности меня заставляли давать всякие подписки.

Задания оперуполномоченного Особого отдела старшего лейтенанта Зяблика я выполнял еще находясь в обозе. Но с настоящей чекистской работой мне довелось соприкоснуться после того, как был в принципе решен вопрос о переводе меня из похоронно-трофейной команды в саперы.

Тогда я среди ночи был вызван к капитану Скопцову и побежал к нему с шахматами, думая, что он жаждет взять реванш за проигранную мне в прошлый раз партию. Наши турниры происходили обычно в ночное время, когда особист работал. Я же ночью ужасно хотел спать, что давало ему известное преимущество.

На этот раз "Рыбка ищет" вызвал меня по другому делу.

— Ларский, я к тебе давно присматриваюсь, хочу поручить задание. Предупреждаю: задание особо опасное, с риском для жизни. Если дрожишь за свою шкуру — лучше не берись. Оставайся в похоронной команде, там поспокойнее. Как говорится, рыбка ищет, где поглубже, а человек — где получше.

Больнее меня, пламенного советского патриота, нельзя было подковырнуть. Конечно же, я взялся за это задание, тем более, что оно действительно оказалось настолько важным, опасным и секретным, что у меня даже дух захватило...

— В саперной роте выявлен немецкий шпион, заброшенный вражеской разведкой в наши ряды, — сообщил особист. — Кто он, нам известно, но мы хотим для начала тебя проверить: сам-то ты в состоянии обнаружить врага среди наших людей? Причем так обнаружить, чтобы враг ни о чем не заподозрил. Ни в коем случае нельзя его спугнуть!

— Раз выявлен шпион, почему его сразу не арестуют? — удивился я.

— В нашем деле горячку пороть нельзя, — объяснил особист. — Семь раз отмерь, один — отрежь. Ты в саперной роте будешь человек новый, со свежим глазом, вот мы и хотим не только тебя, но и себя еще разок проверить. Шпиона ликвидировать мы всегда успеем, главное — держать его под наблюдением, чтоб установить связи.

...Итак, я прибыл в саперную роту с важным секретным поручением. Капитан Скопцов задал мне задачу потруднее иной шахматной: среди сорока человек личного состава распознать хорошо замаскировавшегося вражеского лазутчика. Справлюсь ли? Не испорчу ли все дело по неопытности? Откровенно говоря, при этой мысли сердце у меня замирало в груди.

Читатель должен принять во внимание, что в мои школьные годы детективная литература не была так распространена, как в нынешние времена, а телевидения не было и в помине. Конечно, я читал про Шерлока Холмса и Ната Пинкертона (в дореволюционном издании) и смотрел до войны кинофильмы "Партбилет", "Ошибка инженера Кочина" и некоторые другие, где фигурировали вражеские шпионы и диверсанты. Но моя детективная "подготовка" была явно недостаточна для столь важного задания, и, естественно, я очень волновался. Из сорока человек поручиться я мог только за себя.

Вспомнив Шерлока Холмса, я решил действовать его дедуктивным методом. Первым, с кем я встретился, был сам командир саперной роты капитан Семыкин — мы с ним шли от штаба в расположение роты и по пути разговорились. К моему удивлению, капитан оказался почти моим ровесником. Он с гордостью рассказывал мне о своей роте, о том, какие у него геройские ребята в саперах, что старшина у него самый лучший в полку, и поэтому ему все завидуют. "Моя рота", "мои люди" — все время говорил юный капитан, откормленный, румяный и кудрявый хлопец. Безусловно, он не мог быть вражеским лазутчиком, и я тотчас исключил его мысленно из числа подозреваемых. Но следовало исключить еще 38 подозреваемых, чтобы остался один — это и будет шпион...

Пока мы шли к Аджимушкайским каменоломням, где располагалась рота, к нам присоединилось еще два сапера. Пятнадцатилетний Жорка, он был воспитанником, "сыном полка". Второй, похожий на цыгана, с медалями на груди — ротный повар Колька Шумилин. Оба несли хлеб со склада.

Капитан сообщил мне с гордостью, что Колька — самый старый ветеран в полку, он до войны еще здесь служил!

— Раз такое дело, повар, конечно, не мог быть вражеским агентом, — подумал я. — А Жорка вообще не в счет.

Таким образом, оставалось исключить 36 человек. Я не рассчитывал обнаружить врага сразу и поэтому не смог скрыть своего замешательства, когда столкнулся с ним лицом к лицу, едва мы пришли в расположение роты. С трудом я овладел собой, стараясь не возбудить у него подозрений. ...У меня не было никакого сомнения в том, что это и есть он — вражеский шпион.

Дальнейшие наблюдения только подтверждали безошибочность моего вывода. Поведение его было явно шпионским, он за всеми следил: прислушивался к разговорам, всюду заглядывал, подглядывал.

Капитан Скопцов оказался прав: вражеский лазутчик действительно замаскировался здорово, пробрался каким-то образом на должность старшины и нагло хозяйничал в роте.

Судя по хвалебным отзывам о нем нашего командира, шпион сумел вкрасться к нему в доверие.

Поручая мне задание, капитан Скопцов сказал, что я свои наблюдения должен буду изложить в письменной форме, и я стал делать заметки в своем блокноте. В частности, мне показались очень подозрительными отношения шпиона с сержантом Набилиным, ротным парторгом. Они между собой без конца шушукались, Набилин скрытно передавал ему какие-то бумажки, которые он прятал в свою полевую сумку. Ординарец командира тоже сунул ему бумажку, причем старался это сделать незаметно для меня.

Когда еще один солдат что-то передал ему тайком, я встревожился уже не на шутку. Шпион не сидел сложа руки, он действовал, вел тайную работу — в этом сомнения не было.

Если капитану Скопцову все это известно, почему он не принимает мер? Почему он выжидает?

С нетерпением я ждал встречи с особистом, но он, видимо, не торопился меня вызывать. По моему мнению, тянуть с ликвидацией шпиона никак нельзя было. Написав обстоятельное донесение с фактами и выводами, я по пути в штаб дивизии, куда меня послал инженер со своим донесением, занес его в Особый отдел и передал старшему лейтенанту Зяблику, я поступить иначе не мог под грузом тяжелой ответственности (капитана Скопцова в этот момент не оказалось). Откуда мне было знать, что моя инициатива смешала все карты особисту!

Читатель вероятно, поймет мое состояние, когда после моего возвращения в роту, лазутчик вдруг отозвал меня в сторону. Я был готов ко всему, кроме того, что услышал...

— Заходил капитан Скопцов, не застал тебя. Велел сказать, чтобы ты все свои донесения отдавал мне, — заговорил он, прощупывая меня взглядом.

— Какой капитан? Какие донесения? Ничего я не знаю, — пробормотал я в полной растерянности.

— Не знаешь, так знай: я в роте не только старшина, но еще имею поручение от Особого отдела. А ты у меня будешь в подчинении. Понял? Давай свое донесение, я сам его капитану передам.

И только тут я сообразил, что вместо немецкого шпиона по ошибке нарвался на лазутчика капитана Скопцова! Почему капитан меня не предупредил сразу? Теперь мне только не хватало, чтобы этот тип узнал, за кого я его принял и стал сводить счеты.

— Передайте капитану Скопцову, что донесение я еще не написал, — соврал я первое, что пришло в голову.

— Как это, не написал? Чего же ты тогда чиркал втихую? Ты у меня дурочку не валяй, я вашу нацию наскрозь вижу! — вдруг взъелся он. (Так я познакомился с Мильтом, о котором я уже писал).

— При чем тут нация, товарищ старшина! Что вы себе позволяете! — возмутился я, готовясь было призвать на помощь своего друга детства и покровителя Карла Маркса.

— А при том... Чтобы не смел Скопцову сообщать того, чего ему знать не обязательно. Донесения ему пиши, но по-умному. Сор чтобы из избы не выносил — наш командир роты этого не любит. (Кстати, за свою двойную игру с капитаном Скопцовым старшина впоследствии здорово поплатился, был снят с должности и поставлен в строй).

АГЕНТЫ, КРУГОМ АГЕНТЫ...

Мильт почему-то решил, что у полкового инженера для меня работы будет не достаточно и подкинул мне еще нагрузку, назначив по совместительству помощником повара вместо Жорки, которого перевел к ездовому. Повар наш, ветеран полка Колька Шумилин, оказался ужасно разговорчивым. Он сообщил мне, что за время его службы в полку сменилось 12 командиров и 10 начальников штаба! Колька знал все их интриги с санинструкторшами, все полковые сплетни.

Когда же я закинул удочку насчет вражеских шпионов — а вдруг он что-нибудь подозревает, — Колька без всяких обиняков рубанул: не агент ли я капитана Скопцова? По правде говоря, я и сам не знал своего статуса, но врать Кольке не

стал и под страшным секретом рассказал ему о своем задании.

— Не дрейфь, я тоже агент, — с подкупающей искренностью сообщил мне Колька. — А насчет шпиона — не переживай: это Скопцов тебя на пушку взял. Он новеньким всегда про шпиона заливает, чтобы следили за всеми в оба. Такая у него система, — объяснил Колька и рассказал мне всю подноготную о наших бойцах "невидимого фронта". Я узнал всех наших агентов — все они оказались пособники "шпиона"-Мильта, которых я разоблачил в своем донесении. Особо предупредил он насчет "сына полка" Жорки, который каждое услышанное слово в точности передает особисту.

После всего этого я понял, какая у капитана Скопцова была система и решил держаться от него подальше.

Не тут-то было!

Не получая новых донесений, особист, как всегда, вызвал меня ночью поиграть в шахматы, но вместо шахмат повел со мной другую игру. Я намеревался честно отказаться от поисков шпиона, мотивируя это своей неспособностью к тайной работе. Я полагал, что мое абсурдное донесение прекрасно подтверждает мою неспособность и ожидал, что "Рыбка ищет" меня поднимет на смех. Однако особист сразу же предотвратил мою рокировку, сделав "ход конем".

Капитан Скопцов неожиданно начал меня хвалить, сказав, что "дебют" у меня отличный и он ожидает дальнейших донесений в том же духе.

— Враг может пойти на хитрость, прикинуться нашим человеком, работающим по заданию Особого отдела, может просить у тебя донесения, якобы для передачи мне, — задним числом выкручивался "Рыбка ищет". — В этом случае пиши ему для отвода глаз о ком-нибудь, к примеру, возьми на прицел этого воспитанника Жорку — знаешь, шустрый такой паренек? Пусть шпион думает, что мы ему доверяем.

В общем, особист ловко пришил мне еще одно задание, подсунув своего наушника Жорку, чтобы он каждое мое слово ему передавал.

Но этот его ход я тотчас раскусил, благодаря информации полученной от Кольки.

Мне стало ясно, что по-хорошему капитан Скопцов от меня не отвяжется, и я решил переменить тактику: отказываться все равно бесполезно, просто — не буду выполнять его заданий.

Так я и поступил.

От Жорки я пытался держаться подальше, но он сам прилип, словно банный лист. Все он обо мне хотел знать, прямо в душу лез: что почем в Москве, кто мой папа, сколько этажей будет во Дворце Советов, где мой папа работает и сколько получает и т.д. и т.п.

Ко всему прочему он набился мне в напарники — есть из одного котелка. Отказать мне ему было как-то неудобно: все-таки сирота, "сын полка"...

Капитан Скопцов, конечно же, мою тактику разгадал. Если в шахматах мы с ним были на равных, то в игре, в которую он меня старался втянуть, он был гроссмейстером, а я — полным пижоном. Он все предвидел на двадцать ходов вперед.

— Если мои задания не будешь выполнять — загремишь в стрелковую роту. В "наркомзем" пойдешь, прямым ходом на удобрения для колхозных полей! — начал он меня шахо-вать. — Я дармоедов не собираюсь держать в придурках, на передовую пошлю. Рыбка ищет, где поглубже, а человек — где получше. Сделай вывод, если ты человек...

Но "Рыбка ищет" опять со мной промахнулся, он имел дело не с обычным придурком, с которым его доктрина срабатывала без осечки, а с придурком-идеалистом. Я готов был работать не за страх, а за совесть, если бы в роте действительно были настоящие вражеские шпионы и предатели, а он хотел превратить меня в "лягавого"— как это называлось на нашем дворе...

Капитан Скопцов не отправил меня на передовую по соображениям шахматной этики: счет нашего матча был в мою пользу и он считал своим долгом отыграться.

ТЕОРИЯ ПРИДУРИЗМА

Моя жизнь была поставлена на шахматную доску, и, естественно, я за нее упорно боролся. Противник превосходил меня в комбинационной игре, а я его — в позиционной и дебютной теории. На мое счастье, он упорно предлагал хорошо известный мне вариант сицилианской партии и поэтому не имел успеха. Для него это, видимо, имело принципиальный характер — перед отправкой в "наркомзем" разложить меня именно в сицилианской партии. (После нашего турнира мне эта сицилианская так осточертела, что я вообще забросил шахматы.)

А тем временем комсорг полка, лейтенант Кузин, назначил меня комсоргом роты вместо выбывшего по ранению сержанта Утиашвили.

— Кто же нам должен помогать, если не партийно-комсомольский актив? — спросил меня особист, поставив мне "мат" своим вопросом.

Теперь я от его задания уклониться не мог.

Перед тем, как поведать читателю о своей деятельности в качестве бойца"невидимого фронта", я хотел бы остановиться на некоторых секретных аспектах этой важнейшей работы. Дело в том, что система капитана Скопцова — как, впрочем, и вся работа "органов" — базировалась на придурках, из числа которых и вербовалась агентура. Солдату, который шел в атаку, было наплевать на весь "невидимый фронт", а придуркам было что терять, и Особый отдел это обстоятельство использовал.

Вакантные придурочные должности он, как правило, заполнял своими людьми, подлинными патриотами, подобно рыбке, вечно ищущими, где поглубже и где получше.

Не кажется ли читателю, что этот принцип действует не только на войне, но и в мирной жизни? Не задавался ли он вопросом: почему его однокашники из какой-нибудь Костромы, которые были ни в зуб ногой ни в одном предмете, получали назначение в аспирантуру и провозглашались светилами

науки? Не восклицал ли он в изумлении, переступая порог руководящей инстанции: как такого мудака могли поставить на это место? Святая наивность! На то он и невидимый фронт: кому надо, тот знает, кого куда ставить.

И если вы некомпетентны, то нечего и нос совать в эту область: "придурки — не придурки!" Лично я, как бывший боец "невидимого фронта" утверждаю: неразрывная связь между "органами" и придурками является залогом вечного существования советской социалистической демократии.

Будем откровенны, разве можно переоценить роль придурков в защите государственной безопасности СССР от происков международного сионизма? Ставлю один против ста, что советский строй будет существовать до тех пор, пока существуют придурки.

— Но как долго они смогут существовать? — возможно, полюбопытствует читатель.

Я уже указывал на досадный пробел в теории моего друга детства и покровителя Карла Маркса, который мне, к сожалению, не по силам восполнить. Современная теория Придуризма еще ждет своего создателя, имя которого прославится в веках, подобно имени основоположника бессмертного учения. Его друг и соратник Энгельс в свое время совершенно справедливо подметил, что "труд создал человека". По моему мнению, придурка тоже создал труд, титанический труд по осуществлению всемирно-исторических задач.

Можно, допустим, предположить, что придуризм — это состояние человечества в период перехода от старого мира к светлому будущему. Подобно тому, как гусеница превращается в бабочку, проходя промежуточную стадию в коконе, человек с пережитками капитализма превратится в идеальный коммунистический индивид через промежуточную стадию придурка.

Изолированный от внешнего мира паутиной "невидимого фронта" придурок в один прекрасный день вылупится на свет Божий в совершенно ангельском обличье. С недописанным доносом в одной руке и недопитой поллитровкой в другой — для передачи в музейные фонды — он устремится именно туда, куда Великий Вождь и Учитель указывал ему пальцем с заоблачных высот непостроенного Дворца Советов*.

Откровенно говоря, с такой-то высоты не хочется спускаться к столь неприятной теме, как мое негласное сотрудничество с Особым отделом.

Поэтому по пути я позволю себе затронуть еще один философский вопрос, по которому Великие Маркс и Энгельс в свое время не высказались, а исполняющие теперь их обязанности товарищи Суслов и Пономарев тоже молчат, словно в рот воды набрали.

Допустим, что коммунизм можно построить. Требуется только материально-техническая база, КГБ и придурки.

Но тогда возникает законный вопрос: как собираются строить коммунизм страны Восточной Азии, где материально-техническая база отсутствует, а есть только придурки и КГБ, или в странах черной Африки, где придурков просто-напросто поедают? Вот мне и думается, что объяснить такой парадокс без разработки теории Придуризма невозможно.

Итак, перехожу к теме, которая покажет меня читателю не с лучшей стороны. Возможно, некоторые с презрением отвернуться или даже станут бросать в меня камнями, но я хочу поглядеть, как они сами повели бы себя на моем месте. Если выкладывать все начистоту, то скажу, что еще до того, как капитан Скопцов подцепил меня на крючок со "шпионом", я уже выполнил задание старшего лейтенанта Зяблика ("Немого"). Он был оперуполномоченным по тылам и хозяйственной части, а сам капитан Скопцов занимался спецподразделениями: разведчиками, саперами, связистами, артиллеристами и т.п. В каждом стрелковом батальоне тоже был свой опер. Таким образом, обоз относился к "Немому", и он у нас время от времени появлялся.

Когда я теперь смотрю бесконечные телевизионные серии с приевшимися уже Коджаком, Старским, Хатчем и прочими теледетективами, я иной раз мысленно представляю: какой фурор произвела бы зловещая фигура нашего обозного опе-

---

* Как понимает читатель, когда речь идет о заоблачных высотах, никакого значения не имеет, был или не был построен Дворец Советов.

ра, появись он на мировом телеэкране! Я имею в виду не его мрачную внешность. В этом увальне с медвежьей походкой ни один человек не заподозрил бы поистине дьявольской хитрости. Уверен, что по этой части "Немой" заткнул бы за пояс любого Коджака.

Итак, звали его "Немым", но в том, что он все-таки немного говорит, я убедился вскоре после того, как был назначен пасти ишаков. Он ко мне подошел и, постояв, наверное, целый час молча, наконец, произнес: "Ешак, он и есть ёшак" и ушел, но затем вернулся и спросил: "Говорят, они тебя слухают?"

Не подозревая подвоха, я постарался продемонстрировать свои способности в области дрессировки. Он опять ушел и снова вернулся.

— Чтобы орали, им можешь приказать? — спросил он.

Я ответил, что смогу, это, мол, не так уж сложно и рассказал ему про уголок Дурова в Москве, куда меня няня часто водила в детстве.

Опять "Немой" ушел и снова вернулся.

— А ну, покажь. Пущай орут! — приказал он.

Я начал подражать ишачиному крику, пытаясь спровоцировать Хунхуза на ответ. Хунхуз в стаде был запевалой, но тут даже своим единственным ухом не повел.

Наверно, раз десять "Немой" уходил и возвращался туда-сюда, я уже сам был не рад, что нахвастался ему, будто могу заставить ишаков кричать. Он вцепился в меня медвежьей хваткой и стал допытываться: где я был при исполнении государственного гимна, когда заорали ишаки? Мог ли кто-либо другой из обоза приказать им это сделать в злонамеренных целях? Поскольку я пел в хоре, мое алиби было несомненным.

— Продолжай следственный эксперимент! — распорядился "Немой". Дал мне под расписку свои карманные часы и велел записывать, когда именно ишаки орут и откликаются ли на мой крик.

Пару дней я без успеха кричал по-ишачиному, вконец сорвав себе голос. Только потом я понял, в чем тут секрет:

ишаки орали в определенные часы*, словно петухи! Если заорать в их время, то они откликались.

Мои записи (вместе со своими часами) "Немой" у меня забрал, взяв с меня подписку о неразглашении и предупредив почему-то, чтобы я о наших с ним делах даже его начальнику капитану Скопцову не проговорился.

СИСТЕМА КАПИТАНА СКОПЦОВА

Отдел капитана Скопцова именовался "Особым", но работа его строилась на тех же принципах, что и работа всех отделов и служб, включая инженерную службу, при которой я состоял в придурках. В первую очередь, она имела определенный объем, каковой должен был выполняться "по валу", то есть в общем и целом.

Если шпионов не было, план "по валу" всегда можно было вытянуть за счет количества выжимаемых из агентуры донесений и за счет объема писанины. Поэтому система капитана Скопцова и базировалась, главным образом, на придурках, околачивавшихся в тылах. Но как тогда эти придурки могли бесперебойно поставлять информацию, если они были оторваны от боевого состава? Да очень просто: они писали донесения друг на друга!

За все время моего пребывания на фронте я только однажды видел, как поймали настоящего шпиона, причем Особый отдел в этом случае очень здорово опростоволосился.

Тогда из-за ссоры со старшиной я был изгнан из ротного хозяйства и поставлен в строй, что мне дало возможность на некоторое время выскользнуть из системы.

...Итак, мы рыли блиндаж для командира полка, а шпион к нам подошел и попросил закурить. Потом он спросил: не знаем ли мы, где находится такая-то часть? Он сказал, что выписался из госпиталя и вот, мол, разыскивает своих. Это был пожилой солдат, судя по виду, из хозяйственных при-

* Необъяснимый факт: непосредственно на передовой ишаки ни разу не заорали.

дурков. Ему посоветовали обратиться в штаб. С вечера, когда саперная рота заступила в полковой наряд, мне достался пост у штаба. Особый отдел размещался там же, и, стоя на посту, я через полуоткрытую дверь видел, что происходило у особистов. Какой-то лысый человек стоял, растопырив руки, в одних кальсонах — я было вначале подумал, что его на вшивость проверяют. Потом я узнал в нем того самого, как выяснилось, шпиона, который искал своих.

Вокруг него суетились все наши особисты и еще несколько приехавших из дивизии на "Виллисе". Прощупывали каждую складку одежды, буханку черного хлеба разрезали на кусочки... Потом его провели мимо меня со связанными руками и увезли на "Виллисе".

Подробности этого дела сообщил мне на следующий день всезнающий Колька, хотя его и близко не было около штаба. Самое интересное то, что шпион сам пришел в руки к особистам, ничего не подозревая, он попался на глаза старшему лейтенанту Зяблику, который его сразу же распознал, но не подал вида. Зяблик доложил капитану Скопцову, а тот в свою очередь, позвонил в дивизию. После этого ни о чем не подозревающего шпиона завели в комнату Особого отдела, где и арестовали. В шинели у него нашли власовские листовки, и он во всем сознался. Когда же его повезли на "Виллисе" в Особый отдел дивизии, он где-то на повороте в лесу сиганул из машины и дал стрекача в одних кальсонах, со связанными руками... Особисты открыли пальбу, искали, но его и след простыл.

Тем не менее поимка шпиона была нашим особистам засчитана, и они получили по медали "За отвагу".

Однако вражеские шпионы и лазутчики попадались не на каждом шагу, но придурочная система всегда обеспечивала капитану Скопцову выполнение плана "по валу". Если агенты писали друг на друга, это совсем не означало, что система полностью работала вхолостую. Особый отдел держал под подозрением всех и каждого, в том числе и свою агентуру. В нашей роте, например, среди агентов был выявлен предатель. Он был арестован на основании моих донесений. Как это произошло, я сейчас и расскажу.

Когда я был подключен в "систему," капитан Скопцов дал мне задание наблюдать за ординарцем полкового инженера Щербинским. (Как сообщил мне Колька, Щербинский прежде долгое время был ординарцем самого капитана Скопцова, а теперь все ему сообщал о своем непосредственном начальнике — полковом инженере Полежаеве). По возрасту он годился мне в отцы. Я долго не мог понять, что же мне нужно сообщать о нем. Но особист давил: "Где "работа", комсорг? Опять хандришь? Смотри, рыбка ищет, где глубже".

Излюбленной темой разговоров на фронте были воспоминания о довоенной жизни. Один, к примеру, рассказывал, как резал поросят на Октябрьскую, другой, как уделал Нюрку на Пасху, третий, как жена ему мариновала огурчики под чекушку... — в нашей роте все жили интенсивной духовной жизнью.

Щербинский донимал меня нескончаемыми воспоминаниями о своем дореволюционном детстве: как он остался круглым сиротой, как его взяла на воспитание богатая вдова, которую он стал употреблять с четырнадцати лет. И вот я решил эту романтическую историю, включая вдову изложить капитану Скопцову.

К моему удивлению, особист эту клюкву проглотил с одобрением.

"Повесть" о детстве Щербинского я не закончил в связи с тем, что меня перевели из придурков в строй, о чем я уже упоминал. Через какое-то время его тоже поставили в строй, но меня уже его дореволюционное прошлое не интересовало.

Однажды получилось так, что нас вдвоем отправили на задание, правда, не на передовую, а в тылы. В условленном месте мы должны были встретить приданных нашей роте дивизионных саперов и показать им дорогу на наш участок. Просидели мы с ним до самого утра где-то в поле у часовни, но никто так и не пришел, и наутро вернулись к своим.

Ночью между нами, двумя бойцами "невидимого фронта", был разговор: "Давай, Ларский, уйдем к е... матери. Война скоро кончится, где-нибудь перекантуемся... Если в роту не вернемся — подумают, что убили", — предложил Щербинский.

Но я уже был стреляный воробей и тут же решил, что это провокация. Либо капитан Скопцов его подговорил, либо Мильт, который жаждет свести со мной счеты.

— Ты что, трехнулся?! — возмутился я. — Дезертировать предлагаешь?

— Вот, ты сразу, дезертировать. Пристроимся к хозчасти, пересидим,— стал он выкручиваться. Но под конец все-таки предупредил, чтобы я капитану Скопцову — ни слова. Свидетелей не было, и капитан ему поверит больше, чем мне.

Я подумал: "Как бы не так! Я не сообщу, а ты меня и продашь..." И чтобы себя застраховать, я все выложил капитану Скопцову, с которым отношения у меня стали более чем прохладными. Но оказалось, что бывший ординарец начальника Особого отдела, его правая рука, его агент и вправду намеревался дезертировать, но передумал и решил отправиться в "наркомздрав". Он прострелил сам себе руку, не подозревая, что на основании моего донесения за ним уже давно следит "сын полка" Жорка.

ПРОЛЕТАРСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ И СОЛДАТСКИЕ ШТАНЫ

Теперь я расскажу историю о том, как капитан Скопцов "купил" меня на пролетарском интернационализме.

Это произошло вскоре после моего разговора с парторгом роты насчет наших грабежей среди освобождаемого от фашистского ига населения (я уже упоминал о споре между особистом и капитаном Семыкиным, самонадеянно заявившим, что его люди никогда его не продадут). Единственно, кто знал об этом споре, был, конечно, Колька Шумилин, он мне потом обо всем рассказал.

Дело было так. Однажды особист меня вызвал поиграть в шахматы и, когда партия перешла в эндшпиль, начал разговор.

— Сердце обливается кровью от того, что творится. Разве этому нас учили Маркс, Энгельс, Ленин и товарищ Сталин?

Как будут нас вспоминать в тех странах, которые мы освобождаем от фашистов? Грабим, мародерствуем, насилуем... Что по этому поводу думаешь, Ларский?

Капитан Скопцов подцепил меня под самую душу, и я ему выложил все, что у меня на душе накипело. Я уже знал, что с "Рыбкой ищет" надо держать ухо востро, но когда речь шла о пролетарском интернационализме, мне было на все это наплевать. Тут "Рыбка ищет" меня и купил.

— Насчет безобразий на фронте и ограбления трудящихся полностью с тобой согласен, — сказал он, выслушав мой пламенный монолог. — Но почему о своей саперной роте умолчал? Разве у нас с тобой нету фактов мародерства и грабежа?

Рассказать ему об этом — означало бы подписать себе смертный приговор. Бывший уголовник Бес не остановился бы ни перед чем, если бы узнал, кто его продал...

"Рыбка ищет" как будто прочитал мои мысли.

— Разглагольствовать мы умеем, а как до дела доходит — мы в кусты, шкуру свою спасаем. Если бы наши отцы так поступали, и революции бы не было, и трудящиеся в нашей советской стране до сих пор бы стонали под гнетом буржуазии.

Прежде я никогда не слышал от особиста подобных речей. Лучше бы он меня по-матерному выругал!

Кровь бросилась мне в лицо, я вспомнил папу, дядю Марка и его маузер. Я, сын революционера, испугался какого-то уголовника?!

— Будут факты, товарищ капитан! — пообещал я, хотя внутри у меня все при этом похолодело.

— Завтра принеси в письменной форме в три часа дня, — закруглился капитан Скопцов.

И тут, наверно, он поторопился объявить командиру роты о своем успехе. Не прошло и дня еще до того, как я должен был прийти с фактами к особисту, как ко мне подошел Мильт и сказал:

— Кто продал-то, ты, небось? Кроме тебя некому, я вашу нацию наскрозь вижу!

Мне было все равно, я уже свыкся с мыслью, что долго не проживу, но зато погибну не как придурок, а как борец за пролетарский интернационализм.

В назначенное время я явился к капитану Скопцову с бумажкой в кармане, на которой были записаны несколько фактов мародерства и бандитизма в нашей роте. Он усадил меня почему-то посреди комнаты на табуретке, а сам сел за стол. Сзади него расположился "Немой" — это меня несколько удивило, обычно он при наших беседах не присутствовал.

В нескольких метрах от меня, за занавеской, стояла кровать. И вот я сквозь очки рассмотрел, что из-под занавески высовывается что-то блестящее. Это был сапог со шпорой, а во всем нашем гвардейском полку в шпорах щеголяли только два человека: ветфельдшер Мохов и командир саперной роты капитан Семыкин. Я сразу догадался, что именно он спрятался за занавеской, но не подал вида.

Необычность обстановки меня насторожила, я стал подозревать что-то неладное. Зачем спрятался ротный?

— Значит, вы, боец Ларский, заявляете о фактах мародерства в саперной роте? — необычно громким голосом спросил "Рыбка ищет". — Давайте их сюда!

Он протянул руку за фактами, но тут я сообразил, что разыгрывается какая-то комедия, не имеющая никакого отношения к пролетарскому интернационализму, поэтому погибать мне не стоит.

И я тоже стал комедию ломать.

— Какие факты, товарищ капитан? Никаких фактов у меня нету.

"Рыбка ищет" аж побелел, от меня такого фортеля он не ожидал.

— Ты что, шуточки решил со мной шутить?! О чем мы вчера говорили?

— Мы говорили вообще о пролетарском интернационализме...

— Я тебе, б...дь, покажу пролетарский интернационализм! — заорал "Рыбка ищет". — Я тебе...

Пока он бушевал, я смотрел, как трясется занавеска, из-под которой торчал сапог. Командир роты, торжествуя, видимо, умирал со смеху, зажав рот.

В свою очередь "Рыбка ищет" пообещал, что мне этот номер просто так не пройдет и отпустил меня.

По-иному отреагировал на происшедшее капитан Семыкин: "Что-то я гляжу, Ларский у нас плохо обмундирован, — сказал он старшине. — Выдай ему новый комплект!"

Так я променял пролетарский интернационализм на солдатские штаны и гимнастерку. С Карлом Марксом, моим другом детства и покровителем, у нас отношения с тех пор стали портиться.

КАК Я СТАЛ ВОРОМ

После трагического ЧП, унесшего в братскую могилу получившего майорское звание юного Семыкина, Кольку и еще нескольких старых саперов из нашей роты, капитан Скопцов свою угрозу осуществил.

Конечно, если бы Семыкин, которому я был нужен, здравствовал, меня бы в стрелковую роту не перевели.

Новый полковой инженер капитан Брянский с особистом отношений портить не захотел и отдал меня без всякого сопротивления.

В полку меня уже все знали, так что не успел я появиться во 2-ом стрелковом батальоне, как меня сразу же назначили ротным писарем. И снова я столкнулся с Особым отделом в лице батальонного опера лейтенанта Забрудного, между прочим, моего старого знакомого.

Когда я прибыл в полк, Забрудный был ротным придурком и тоже ходил в писарях. Потом он заболел поносом и надолго выбыл в медсанбат, кантовался в дивизионных тылах, затем попал на какие-то курсы особистов и возвратился в полк младшим лейтенантом.

Этот ухарь был явным антисемитом, и ничего хорошего эта встреча не предвещала. Писарей в ротах не было, и ему пришлось смириться с моей кандидатурой. Он меня всегда донимал очками, утверждал, что я симулянт, только придуриваюсь, а на самом деле все прекрасно вижу.

— Я вашего брата знаю! — говорил он всегда, подобно Мильту. (Кстати, Забрудный был казак, но с Кубани.)

В стрелковой роте доверенным лицом Особого отдела являлся писарь, через которого опер держал связь со своими людьми. Теперь пришлось работать в системе лейтенанта Забрудного, а она ни в какое сравнение с системой капитана Скопцова не шла.

Забрудный, в основном, пьянствовал, с писарей он требовал не донесений, а водку, в первую очередь, но Скопцов почему-то к нему благоволил.

Старшиной роты оказался сержант Волков, который отсидел 5 лет за групповое изнасилование. Он, конечно, тоже оказался агентом Особого отдела, и мы с ним договорились друг дружку не продавать Забрудному.

Ротному писарю-каптенармусу не столько приходилось заниматься писаниной, сколько хозяйственными вопросами, боеснабжением и оружием. И тут запросто можно было загреметь в штрафную роту. Потери личного состава в боях были очень высокими. Оружие, числившееся за убитыми и ранеными, кровь из носу нужно было возвращать на полковой склад, а его всегда не доставало, потому что его бросали, где попало.

Старшины и писаря подбирали его, где только могли — и на передовой и в тылах.

Но в нашей роте дефицита не было. Моему старшине пригодился тюремный опыт, он просто-напросто оружие воровал там, где оно плохо лежало. А что было делать?

Мне тоже в этих операциях приходилось участвовать. Мы уезжали обычно на ротной повозке в тылы, подальше от передовой — там ротозеев было больше. Однажды, например, у артиллерийской батареи все винтовки сперли. Пока старшина заговаривал зубы артиллеристам — наш ездовой охапками перетаскивал их оружие в повозку, а я в это время стоял "на шухере".

Но не только мой старшина был такой хитрый. Воровство оружия приняло столь массовый размах, что по армии вышел приказ: оружие сдавать на склады только в соответствии с номерами, которые записаны в ротных ведомостях.

Но мой старшина и тут нашел выход — на складе у него были свои ребята. Он их взял на "водочное довольствие", и в благодарность они засчитывали ему оружие с чужими номерами.

Вскоре, когда мы уже были в Силезии, из-за больших потерь и нехватки офицерского состава наш батальон переформировали. Из трех рот сделали две, и меня перевели во вторую роту. Я тут был и за писаря и за старшину, но с работой справлялся — в роте всего-то насчитывалась треть людей.

И вот как-то у меня образовалась большая недостача оружия. Ночью, при переходе батальона на другой участок, присланный к нам новый командир роты не сориентировался в обстановке и приказал окопаться спиной к противнику. Когда на рассвете немцы открыли огонь, половина роты полегла, остальные отступили и окопались на новом месте. Оружие погибших — в том числе ручной пулемет — оказалось брошенным на ничейной полосе, и, разумеется, никто не хотел за ним лезть. Лейтенант был в полной растерянности от случившегося, оставшиеся солдаты его приказаний не выполняли. Он мне сказал: "Тебе оружие сдавать, ты и лезь за ним..."

Что мне оставалось делать? На следующую ночь перестрелки не было, и я пополз к оставленной позиции, ориентируясь по зареву пожара где-то в наших тылах. Действуя наощупь, я собрал винтовки, а ручной пулемет нащупать никак не мог. Долго я ползал по передовой, как крот, измучился вконец. Несколько раз возвращался обратно, потом опять лез — пока не наткнулся на этот проклятый пулемет. Я его уволок осторожно, чтобы противник не услышал шума, потом перенес на повозку и, ни о чем не подозревая, свез на склад артснабжения.

Наутро меня разбудил посыльный лейтенанта Забрудного. У него я застал старшину Волкова и начальника артсклада. Все втроем они набросились на меня: ах ты, е... твою мать, умнее всех хочешь быть, у своих начал уводить...

Оказывается, пулемет-то был из роты Волкова! Как это получилось, я и сам не знаю. Видимо, я отклонился в сторону,

когда полз, а пулеметчик в этот момент заснул. Поднялся переполох — решили, что немцы пулемет утащили. Утром Волков приезжает на склад сдавать оружие и надо же — видит свой пропавший пулемет.

Мои объяснения Забрудный поднял на смех.

— Целый год симулировал, обдуривал всех: "не вижу". А как пулеметы с передовой воровать — видит лучше всех!

Они составили акт, но я отказался его подписать.

— Все равно ты у меня не открутишься, в штрафную все равно упеку, — злорадствовал Забрудный. — Я всегда капитану Скопцову говорил, что ты придуриваешься с этими очками, а он не верил. Кто прав оказался?

Но в штрафную меня так и не упекли. В батальоне уже почти не оставалось народа. Каждый солдат был на счету. Приказано было всех уцелевших объединить в одну роту. Старшиной оставили Волкова, а меня направили в строй, вторым номером к злополучному пулемету, который я сослепу украл.

А Волков меня продал оперу, нарушив наш уговор.

— Ты лягавый! — сказал я ему. — Раз такое дело, я про тебя тоже все расскажу. Ты же по-настоящему оружие воровал.

— Я не лягавый, я тебя продал законно — ответил он. — Мы уговаривались, когда были в одной роте, а потом у каждого стал свой интерес, когда по разным ротам разошлись...

Он действовал по Закону двора. Моя угроза его лишь рассмешила:

— Не позабудь рассказать, что сам участие принимал. На шухере-то кто стоял?

На передовой я пробыл всего два дня, на третий — меня ранило. К этому времени от нашей роты, вернее батальона, осталось тринадцать солдат, один станковый пулемет и один ручной. Никакого начальства над нами не было, ни офицеров, ни сержантов. Когда лейтенант был тяжело ранен, он приказал пока командовать мне .

А какой я был ночью командир, когда сам ходил на привязи за своим первым номером. В саперной роте мне сплели

специальный поводок из бикфордова шнура; одним концом я цеплял его за свой ремень, другим — за ремень напарника, являвшегося моим поводырем.

Ранило меня ночью на другой стороне Одера, который мы днем форсировали по взорванному мосту. Нас накрыло минометным огнем, я закричал: "Вперед! Бегом!" — чтобы выйти из-под обстрела.

В этот момент вспыхнул взрыв, совсем рядом. Первый номер с пулеметом упал и потянул меня за собой. Поводыря убило, а я вначале даже не почувствовал, что ранен, но когда от него отцепился, то из-за сильной боли даже не смог бежать следом за своими. Я понял, что ранен в живот. Стал обдумывать, как мне быть. Если ждать тут до утра, я могу отдать концы.

Спасение пришло, как с неба. Вдруг послышался шум мотора и приглушенные голоса. Это оказались заблудившиеся артиллеристы с противотанковой пушкой, они совсем было заехали к немцам, хорошо, что я предупредил. Меня подобрали в машину и завезли в какой-то медсанбат чужой дивизии. Из медсанбата перевезли в армейский госпиталь, в город Бяла Бельска.

И вот, спустя несколько дней после победы, я радостно шел в свою часть, стоявшую под Прагой. Я во что бы то ни стало хотел, выйдя из госпиталя, вернуться в свою родную "Ишачиную дивизию", с которой прошел боевой путь от Керчернского плацдарма до Одера.

Я шел, мечтая о скорой демобилизации, возвращении в Москву и о поступлении в институт. А навстречу мне скакал на лошади оперуполномоченный Особого отдела, теперь уже старший лейтенант Забрудный, в новой шинели и хромовых сапогах.

Он очень удивился.

— А, беглец! Сам решил явиться? Это хорошо, это зачтется тебе... — как-то странно он приветствовал меня.

Я оторопел.

— Я не беглец! Иду из госпиталя после ранения. У меня все справки есть.

— А ну, покажи! — приказал Забрудный.

Я сдуру отдал ему все справки и больше их не видел.

— Е...ть я хотел твои справки! Ты с передовой дезертировал! И через санчасть не проходил! Я сейчас на блядоход еду. Мне с тобой заниматься недосуг. Явишься к комбату и доложишь, что я приказал тебя взять под стражу до утра! — орал он. — С пулеметом у тебя было недоразумение? И теперь тоже? Теперь ты, пархатый, у меня не отвертишься...

Он пришпорил лошадь и ускакал.

Безусловно, какая-то невидимая сила помогала мне выпутываться из бесчисленных неприятностей. Я даже сам этому удивлялся. Но в первый раз я подумал, что Бог, наверное, есть, когда на следующий день по всей дивизии стало известно о возмутительном ЧП со старшим лейтенантом Забрудным из Особого отдела.

Произошло следующее.

Вечером командир дивизии гвардии генерал-майор Колдубов, герой Советского Союза, проезжая на машине в штаб, чуть не сбил чью-то лошадь, плохо привязанную к крыльцу. Возмущенный генерал вошел в дом вместе со своим ординарцем выяснить, кому лошадь принадлежит. Принадлежала она старшему лейтенанту Забрудному, которого генерал слегка потревожил в кровати. Опер, разгоряченный любовью, отвесил всеми уважаемому генералу оплеуху.

Эта, Богом посланная оплеуха, и спасла меня от новых неприятностей со стороны Особого отдела. Забрудного тогда же скрутили и наломали ему бока. Был трибунал, и вначале ему дали семь лет. Но Особый отдел своего выгородил. Дело было пересмотрено, и Забрудному оставили только разжалование.

(Окончание в следующем номере).

ЖУРНАЛ "ЭХО"

Вышел в Париже и продается

второй расширенный номер ежеквартального литературного журнала "Эхо". Журнал редактируется В. Марамзиным и А. Хвостенко и посвящен современному литературному процессу в России.

Номер открывает фотография поэта И. Бродского и художника О. Целкова на венецианском Бьеннале и поздравление Бродскому по поводу присвоения ему степени доктора литературы Йельского университета.

Основа номера — повесть ленинградского писателя Бориса Вахтина "Одна абсолютно счастливая деревня". Почти весь номер составляют также рукописи из России, из самиздата: рассказ Генриха Шефа "Митина оглядка", большая подборка стихов Владимира Уфлянда, стихи Елены Шварц из самиздатского журнала "37", публикация самой значительной поэмы Александра Введенского "Кругом возможно Бог" со статьей Михаила Мейлаха.

Читайте, кроме того, рассказы Давида Дара и Сергея Юрьенена, стихи Леонида Ентина, статью Иосифа Бродского о поэте Константине Кавафисе с переводами из Кавафиса А. Лосева, письмо Брежневу Г. Вишневской и М. Ростроповича и др. материалы.

Продается во всех русских магазинах. Цена этого номера 20 франков.

Только в Европе: Условия подписки в редакции — 60 франков (4 номера).

Адрес редакции: "Echo" c/o V. Maramzine, 302 rue des Pyrenees, 7S020 Paris.

БЬЕННАЛЕ-77

Одно из значительнейших событий европейской художественной жизни прошлого года — Венецианское Бьеннале — посвящено было неофициальному, непризнанному, опальному искусству стран тоталитарно-коммунистических режимов. Этот обширный художественный материал, обладающий помимо эстетической — также и политической ценностью — дал пищу для размышлений 840 репортерам, журналистам и художественным критикам, что в значительной мере позволило сформировать определенное мнение Запада о внутреннем состоянии и эволюционных процессах искусства в тоталитарном обществе.

Уже в самих благородных словах "опальный", "ссыльный", "гонимый" содержится возвышенный драматизм. О самой истории неофициального искусства в Советском Союзе и говорить не приходится: она проникнута драматическим духом событий, великих репрессий и расправ, бесшабашных героических авантюр, беспримерной борьбы опального, авангардного живописца с ретроградным и злобным эстеблишментом. Борьба эта протекала настолько напряженно и драматично, что можно видеть в ней некую мифологическую ситуацию преследования Героя-мученика сатанинскими силами, погони за Ним, его Побега, завершившегося трагическим изгнанием на чужбину, финалом, символизирующим акт избавления.

История неофициального искусства в России — это не только борьба в поисках утверждения новых художественных концепций и

пластических форм, но и в первую очередь — история допросов и арестов, репрессий и запретов отдельных выставок, художников и целых художественных школ и течений; история расправы над художниками и их творениями, подвергнутыми физическому насилию разъяренной толпы и — в приказном порядке — бульдозеров государственных органов и, наконец, покрытая мраком тайны и ужаса, смерть художника (Евгения Рухина) при пожаре в его мастерской.

Однако, было бы ошибочным видеть в драматизме истории неофициального искусства критерии его объективной оценки. Авторитетная западная критика проводит резкую грань между политическим значением этого искусства и его чисто художественной ценностью.

Похоже, что русские и западные художественные критики совершенно по-разному трактуют понятие "авангард". Западный критик видит в понятии "авангард" не протест против навязанных государством художественных норм и не искусство, преследуемое и непризнанное, а искусство, открывающее новые, ранее не мыслимые, визуальные возможности, новые понятия о пластических категориях, расширяющее, используя эксперимент, рамки общепризнанной эстетики. Западная критика справедливо видит в авангарде меру новизны, а не меру непризнания.

Потому абсурдно считать авангардными работы таких традиционных мастеров, как Биргер и Вейсберг, которых занимают пластические проблемы постимпрессионизма, решенные еще в конце 19 века французской художественной школой.

Западная критика в статьях о Бьеннале 1977 года единодушно выделяет среди неофициальных советских художников тех талантливых мастеров, которые — сложись их судьбы иначе — могли бы добиться международной славы и признания.

Выдающаяся роль в развитии неофициального советского искусства принадлежит несомненно Оскару Рабину, художнику во многом изменившему господствовавшее в России представление о том, что есть "искусство" и "живопись". В начале 60-х годов средствами традиционной техники он утверждал современные идеи поп-арта в композициях, построенных на реалиях советской жизни. Однако поп-артистские тенденции искусства Рабина не выражены достаточно последовательно.

Среди поколения абстракционистов нельзя обойти вниманием тонкого мастера Владимира Немухина. Безукоризненный вкус и европейский изысканный эстетизм отличают его абстрактные и полуабстрактные композиции, в которых особая пластическая роль принадлежит игральной карте, объекту, подвергнутому деформациям и разрушению. Западная критика видит в работах Евгения Рухина попытку связать русский материал с формальными и концептуальными открытиями американского художника Роберта Раушенберга.

Знаменательна деятельность группы кинетистов "Коллективное Движение", возглавляемой Львом Нусбергом, направленная на создание утопических проектов в духе русского конструктивизма начала века по изменению среды и внедрению новых архитектурных и дизайнерских идей. Небезынтересна поп-артистская интерпретация реалий советской жизни у Ильи Кабакова, к сожалению, использующая широко известные пластические приемы американской школы.

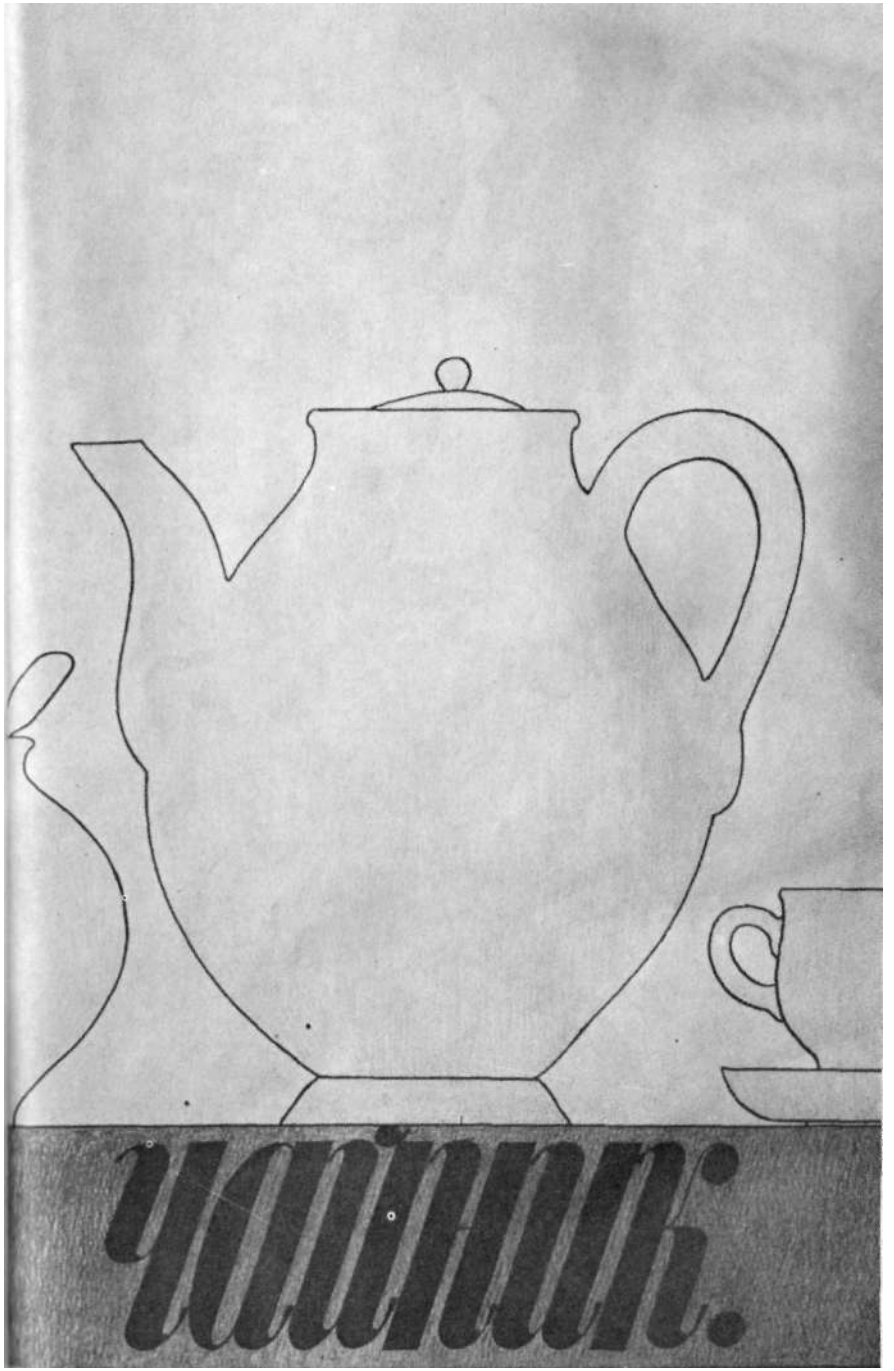
На Бьеннале демонстрировалась документация советского "хэппенинга" международного масштаба: "Давайте станем ближе на один Метр"! Его участники, прорывшие в Москве отверстие глубиной в один метр, предложили проделать то же самое жителям других стран, дабы самим испытать чувство единения и солидарности со своими собратьями, будучи оторванными от них и от всего мира. Думается, что характер этого "хэппенинга" крайне символичен для советского неофициального искусства. Он подчеркивает безысходную обособленность, оторванность как от художественного опыта своего времени, так и от своей собственной художественной истории.

Бьеннале 1977 года, как кажется, убеждает в том, что сегодня искусство вряд ли способно развиваться вдали от центров художественной жизни или хотя бы в отрыве от международного художественного опыта, критики, рынка. Советский режим, внедривший и выпестовавший социалистический реализм, сумел погубить многих из тех даровитых художников, которые находились в оппозиции к нему. Оказывается, художник и власть настолько взаимосвязаны, что тоталитарный режим оказывает давление даже на творческую жизнь художника, ему противостоящего.

Не признанное в России, неофициальное советское искусство, оказавшись между Сциллой и Харибдой, продолжает оставаться в опале и за рубежом.

Наталия АГРОСКИН

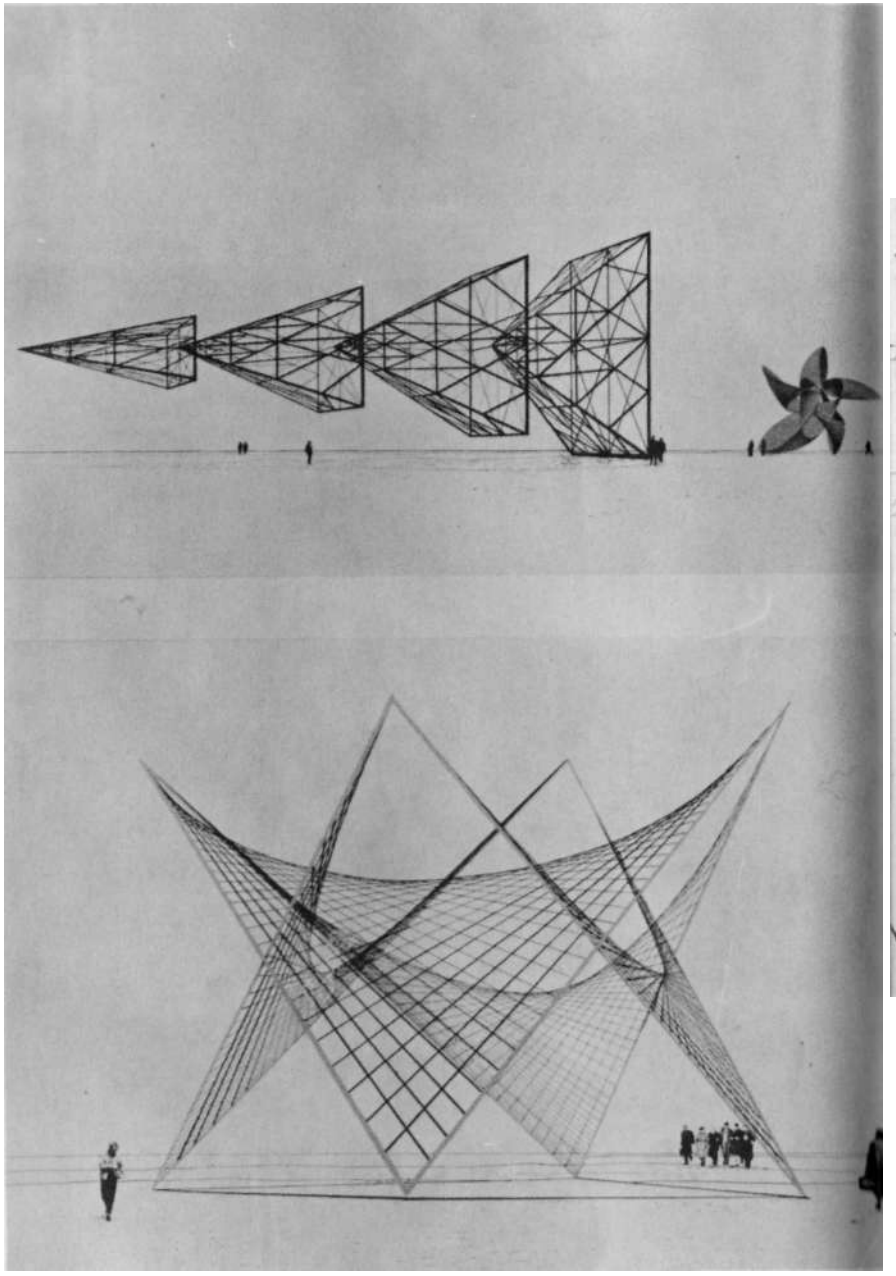
Репродукции взяты из книги Игоря Голомштока и Александра Глезера "Неофициальное искусство Советского Союза"
Copyright ГО 1977 Writers & Scholars Educational Trust London



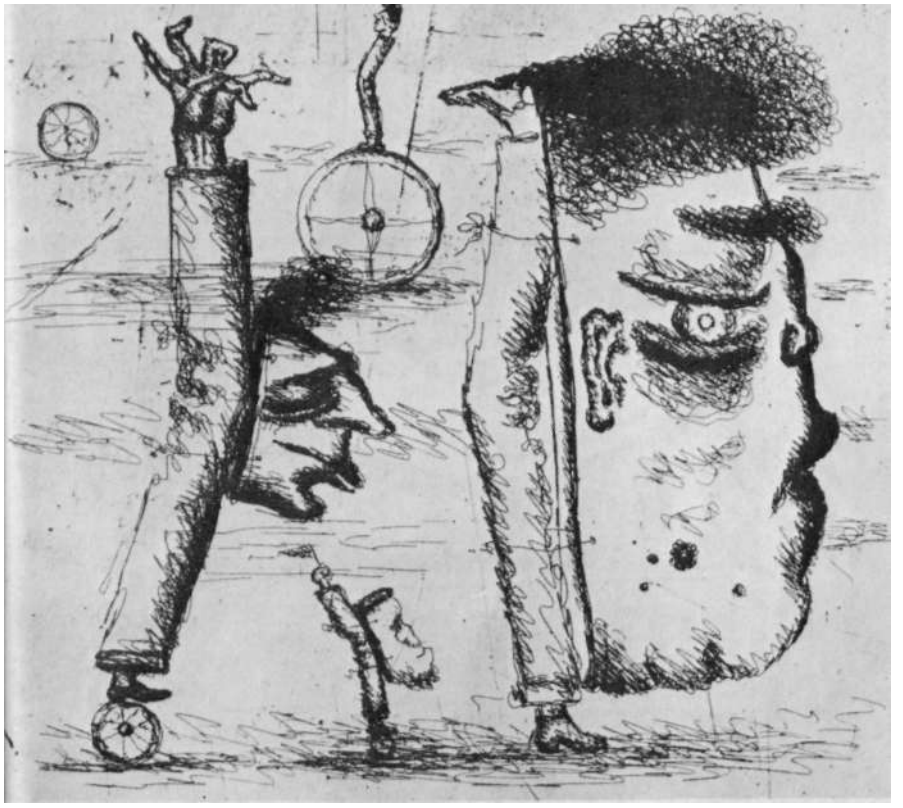
Илья Кабаков. **Чайник. Уголь, бумага**

Владимир Немухин.
Карточный стол.
Масло, темпера, коллаж.

Оскар Рабин.
Скрипка и кладбище.
Масло, коллаж на холсте.

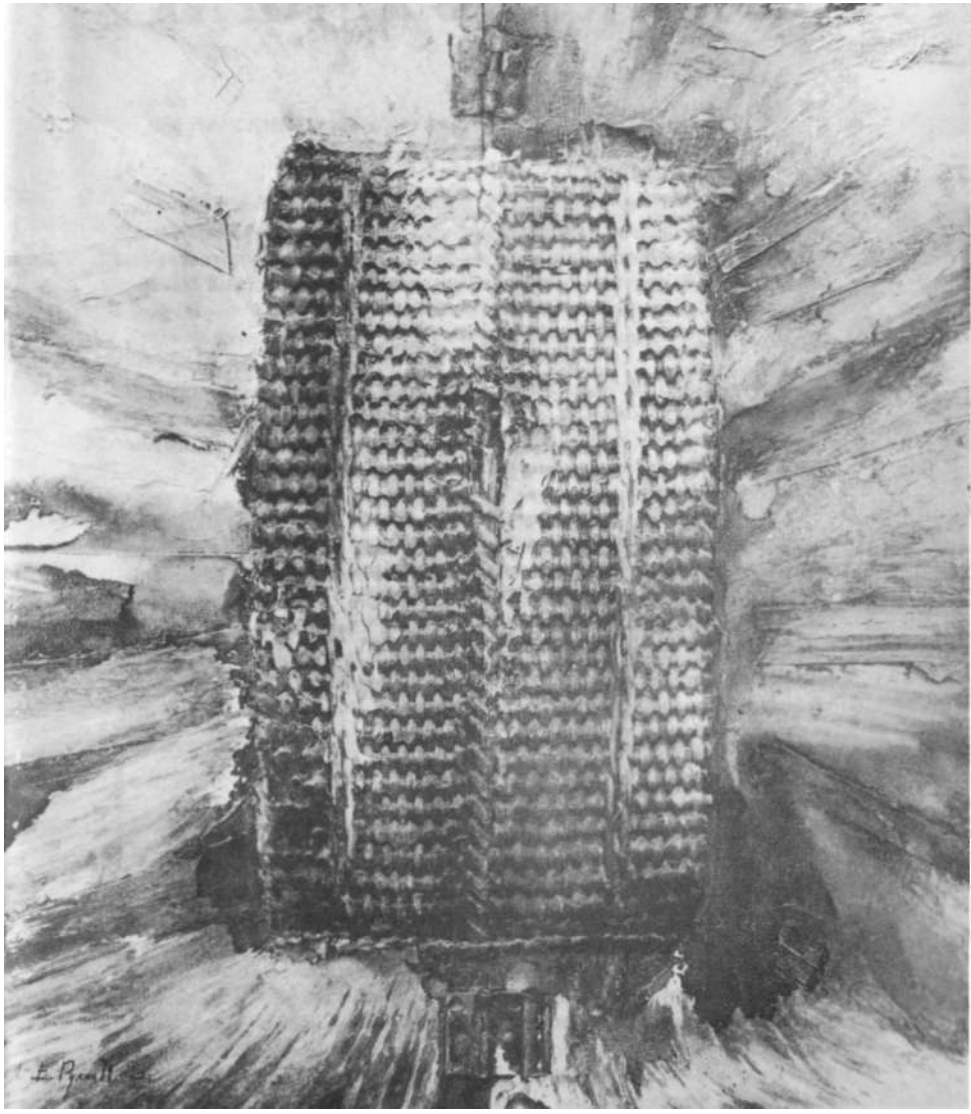


Лев Нусберг. **Конструкция I 1963. Конструкция II 1963**



Владимир Янкелевский. **Из альбома "Анатомия чувств"**

Оскар Рабин. **Объезд 2 метра.** Масло на холсте



Евгений Рухин. **Композиция 1974.** Коллаж

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Анатолий ЖИГАЛОВ. Поэт и переводчик. Родился в 1941 году. Получил филологическое образование. В советских периодических изданиях стихи Жигалова почти не публикуются. Живет в основном переводами. В кругах московской интеллигенции Анатолий Жигалов известен также и своими работами в области живописи.

Генрих САПГИР. Родился в 1928 году. Детский поэт. Член СП СССР, живет в Москве. Выпустил более двадцати книжек для детей. Лирика Г. Сапгира, собранная в книги "Голоса", "Псалмы", "Элегии" и "Сонеты на рубашках", никогда не публиковалась в СССР.

Соломон ЦИРЮЛЬНИКОВ. Родился в 1905 году в Елизаветграде. Учился в Одесском институте народного хозяйства. После революции вступил в молодежное сионистское движение. В Израиль приехал в начале 1928 года. Участвовал в лево-социалистическом рабочем движении. После войны был секретарем Общества Дружбы "Израиль-СССР", из которого вышел в 1956 году в знак протеста против угроз советского правительства в адрес Израиля. Последние двадцать лет выступает на страницах израильской рабочей печати.

Дора ШТУРМАН. См. журнал № 30.

Елена КЛЕПИКОВА. Литературный критик. Родилась в 1942 году. В течение ряда лет, после получения высшего образования, была журналистом, выступала в ряде газет и литературных журналах. С начала 1977 года вместе со своим мужем, Владимиром Соловьевым, решила порвать с советской литературой и журналистикой. Организовали независимое информационное агентство, поставившее своей целью давать достоверную информацию о Советском Союзе. В 1977 году эмигрировала в Соединенные Штаты Америки. В настоящее время работает в Колумбийском Университете. Статьи Елены Клепиковой публикуются в американской прессе ("Нью-Йорк Тайме", журнал "Dissent" и т.д.).

Лев ЛАРСКИЙ. См. журнал № 29.

Лев КОПЕЛЕВ. Родился в 1912 году в Киеве. В 1938 году окончил Московский институт иностранных языков. Критик, литературовед, писатель. Участник Великой Отечественной войны. Затем много лет провел в сталинских концлагерях и тюрьмах. Автор множества статей и переводов. В 1976 году на Западе вышла его первая большая проза: "Хранить вечно". Через год исключен из Союза писателей СССР. Активный участник правозащитного движения в СССР.

МИХАИЛ ДАВЫДОВИЧ БАЙТАЛЬСКИЙ

Редколлегия журнала "Время и мы" с глубокой скорбью сообщает, что в Москве скоропостижно скончался один из наших самых талантливых авторов, замечательный поэт и публицист, человек большого мужества - МИХАИЛ ДАВИДОВИЧ БАЙТАЛЬСКИЙ (ДОМАЛЬСКИЙ).

КО ВСЕМ ПОДПИСЧИКАМ И ЧИТАТЕЛЯМ ЖУРНАЛА "ВРЕМЯ И МЫ"

Редакции и Правление Фонда журнала "Время и Мы" обращается ко всем подписчикам и читателям в Израиле и за границей, ко всем библиотекам и университетам с просьбой внести посильный вклад в Фонд друзей журнала.

Журнал "Время и Мы" является независимым и несубсидируемым изданием. Свою задачу редакция видит в том, чтобы способствовать развитию русской литературы за пределами Советского Союза, публиковать на своих страницах лучшие произведения русскоязычных писателей, живущих в Израиле, странах Запада и в России. Средства Фонда будут способствовать дальнейшему развитию журнала, они помогут редакции постоянно выплачивать гонорар авторам, установить связи с русским и еврейским Самиздатом России.

Взносы просим направлять по адресу редакции: ул.Нахмани62, Тель-Авив. "TIME AND WE".

Или на банковский счет журнала:
Israel Discont Bank LTD., branch Akirja account 140317.

Редакция приносит глубокую благодарность израильским подписчикам журнала, откликнувшимся на просьбу редакции: Цви Навону, Марту, Хромой.

От редакции:
в 29 номере журнала, на странице 206, по недоразумению, не было указано, кто подготовил публикацию стихов Введенского. Настоящая публикация подготовлена к печати Ильей Левиным.

ANDREI SEDYCH
Editor in Chief

LAWRENCE WEINBERG
Business Manager

Novoye Russkoye Slovo
Oldest Russian Daily · Established 1910
243 WEST 56th STREET
NEW YORK, N. Y. 10019
Tel COlumbus 5-5500

М. Г.

Подписываясь на газету будьте добры послать нам денежный перевод на сумму заказа. Просим об этом, чтобы облегчить нашу работу и ускорить оформление подписки.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

Ежедневное и воскресное издание:
Год — $50.00; 6 мес. — $28; 3 мес. — $17; 1 мес. — $6.00

Ежедневное издание только:
Год — $45.00; в мес. — $25.00; 3 мес. — $15.00.

Воскресное издание только:
1 год — $20.00; в месяцев — $12.00

Заграничная подписка принимается только на
1 год — $60.00; 6 месяцев — $35.00

Только воскресное издание для заграницы
1 год — $25.00; 6 месяцев — $15.00

— Перемена адреса 1 доллар —

Заграничная подписка воздушной почтой в страны Европы и Латинской Америки

Ежедневное и воскресное издание:
1 год — $150.00; 6 месяцев — $90.00

Воскресное издание только:
1 год — $75.00; 6 месяцев — $40.00

Отправка газеты в страны Азии, Африки и Австралии

Ежедневное и воскресное издание:
1 год — $180.00; 6 месяцев — $100.00

Воскресное издание только:
1 год — $85.00; 6 месяцев — $45.00

Подписные деньги посылайте наличными в заказном письме, чеком или почтовым переводом (Мони ордер) простым письмом.

ИЗДАТЕЛЬСТВО

ВРЕМЯ и МЫ

принимает заказы на все виды типографско-издательских работ: издание книг, альбомов, брошюр, рекламных проспектов, выполнение художественно-оформительских и фоторабот.

Заказы принимаются как от израильских, так и зарубежных издательств и фирм, выполняются на русском языке и по значительно более дешевым, чем за границей, ценам.

Выполняются заказы на машинописные работы на русском языке, на редактирование и корректуру рукописей. Принимаются также от израильских и зарубежных фирм все виды объявлений и коммерческой рекламы.

В журнале "Время и мы" бесплатно публикуется реклама книг, выпускаемых издательством.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ В ИЗРАИЛЕ:

Сроком на 6 месяцев — 270 лир
на 12 месяцев — 492 лиры
(включая налог на дополнительную стоимость и почтовые расходы)

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ ЗА РУБЕЖОМ:

В США И КАНАДЕ
сроком на 6 месяцев — $ 19.60 (авиапочта — 37.50)
на 12 месяцев — 39.20 (авиапочта — 75.00)
Цена номера в открытой продаже — $ 4.5

ВО ФРАНЦИИ
сроком на 6 месяцев — F.FR. 92 (авиапочта — 155)
на 12 месяцев — 184 (авиапочта — 310)
Цена номера в открытой продаже — F.FR. — 23

В ГЕРМАНИИ
сроком на 6 месяцев — DM 46 (авиапочта — 88)
на 12 месяцев — 92 (авиапочта — 176)
Цена номера в открытой продаже — DM — 11

бланк для ПОДПИСКИ на 1978 годна оборота

"ВРЕМЯ и МЫ" 1978 год.

ПОДПИСКА В ИЗРАИЛЕ НА 1978 год

Сроком на 6 месяцев
на 12 месяцев
Журнал высыпать с номера.....

Журнал высылать по адресу.....

Приложен чек.....

Подпись..... Дата.....

* Чек выписывается на имя журнала "Время и мы" — можно по-русски — и высылается по адресу:
P.O.B. 24123, Tel Aviv или 62/9 Nachmani St., Tel-Aviv

ПОДПИСКА ЗА ГРАНИЦЕЙ НА 1978 ГОД

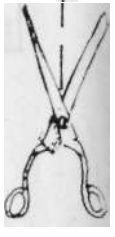
Авиапочтой сроком на 6 месяцев
Обыкновенной почтой на 12 месяцев
Журнал высылать с номера.....

Журнал высылать по адресу:.....

Приложен чек.....

Подпись..... Дата.....

* Чек выписывается на имя журнала "Время и мы" — можно по-русски — и высылается по адресу: P.O.B. 24123, Tel Aviv, Israel или 62/9 Nachmani St., Tel-Aviv



ХОРОШО ИМЕТЬ ДЕЛО

С БАНКОМ "ДИСКОНТ"

Деньги не растут на деревьях. Всю жизнь я работаю, чтобы их заработать. И я хотел бы знать, как лучше сохранить их стоимость. Я не специалист в области финансов. И мне трудно быть уверенным в правильности моего решения. Поэтому я имею дело с банком "Дисконт". Здесь есть группы консультантов, и каждый может бесплатно, притом без огласки получить у них совет.

Если у меня есть немного денег, или какое-то имущество, или трудности в отношении уплаты налогов, я обращаюсь в консультационный центр банка "Дисконт". Там меня встречают экономисты, юристы, банковские работники, и дают мне великолепные профессиональные советы. На основании многолетнего опыта я утверждаю — хорошо иметь дело с банком "Дисконт"!

טוב לעבוד עם
בנק דיסקונט
הצד האנושי של המטבע

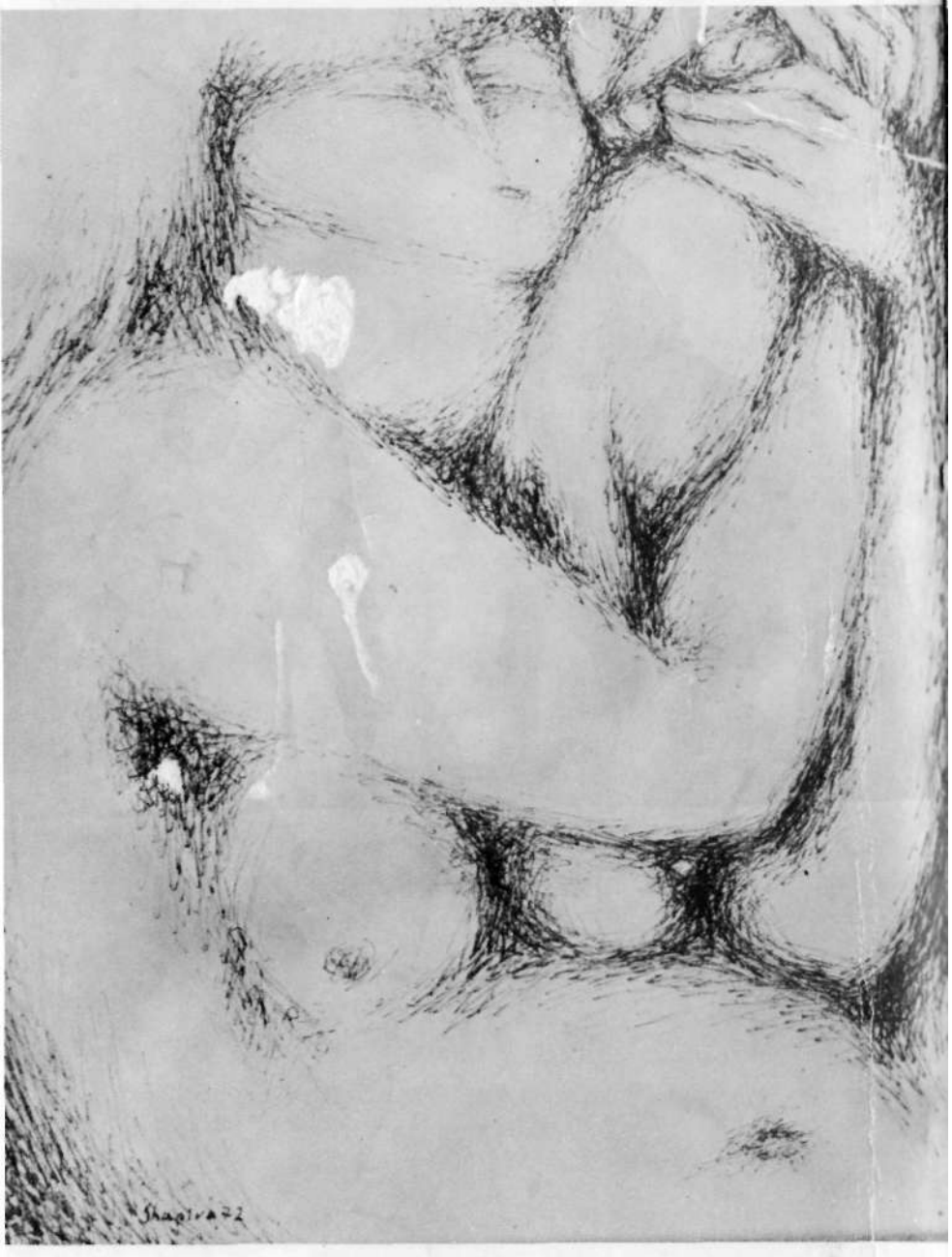
Отвергнутые рукописи не возвращаются, и по поводу них редакция в переписку не вступает.

Издательство "Время и мы".. Тель-Авив,, ул. На*л«Ан«, 62/9
п.я. 24123, Тель-Авив, 621085.
62/9 Nachmani st. T.-A. Tel. 621085.

Типография "Дерби". Улица Амавдиль, 6. Т.-Д.

OCR и вычитка - Давид Титиевский, март 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

На четвертой странице обложки: Валентина Шапиро — из цикла иллюстраций к Бодлеру "Цветы зла". Карандаш, бумага (Игорь Голомшток и Александр Глезер из книги "Неофициальное искусство Советского Союза").


Shapiro 72